

М.Корольков

Гримасы жизни.

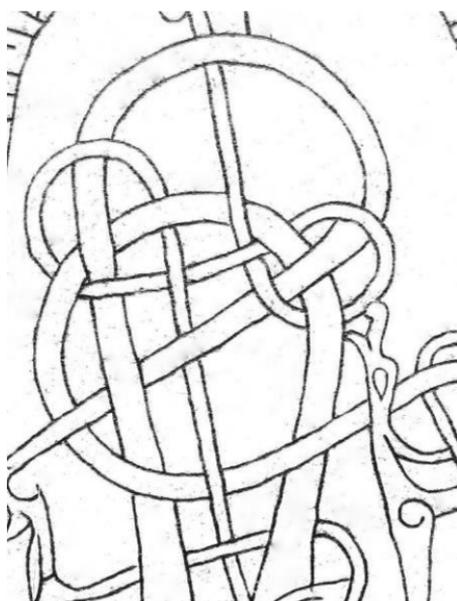
Из воспоминаний военного юриста

материалы по истории позднеимперской России
том 26

Издательство Упыря Лихого
2024

Наше издательство названо именем **Упыря Лихого** (Эпир Неробкий, Öpir Ofeigr), первого русского переписчика книг, имя которого мы знаем.

Соратник нормано-русских князей, священник, переписчик книг и рунорезец, Упырь Лихой своим примером напоминает нам о том, как важно без робости распространять знания и красоту среди варварства и тьмы.



орнамент на камне U-104 в Уппланде, созданном Упырем Лихим

М. Корольков

Гримасы жизни. Из воспоминаний военного юриста

Издательство Упыря Лихого

2024

Настоящее издание повторяет авторское издание 1929 года (Новый Сад); верстка и орфография современные.

Предисловие

Каждый, кто хочет серьезно изучить жизнь, должен взять для себя материалом не только данные положительного характера, но и явления отрицательные, которые представляют собою, так сказать, патологическую сторону общественного организма. Отрицательные явления жизни, при серьезной и вдумчивой их оценке, помимо зафиксирования их, как фактов, могут привести к выяснению таких коренных недочетов и неправильностей в самых основах строения жизни, которые без этого могли бы остаться неосознанными, но которые сами собой определяют невозможность дальнейшего нормального развития жизни, — а раз замечены и осознаны эти недочеты и неправильности, то уже легче найти и верный путь к их исправлению. Вот почему наблюдение и изучение судебных процессов, касающихся преступлений, — т.е. резких эксцессов личности против установленного правовыми нормами и жизнью порядка, — всегда интересно и поучительно. Напрасно думают, что в этом отношении интересны только так называемые «громкие» процессы, т.е. процессы о каком-нибудь сенсационном убийстве, грандиозном, дерзком хищении, процессы с аристократическими именами участников, — такие процессы являются всегда исключительными и, как исключения, не дают уверенности в ценности выводов из них. Серьезнее и значительнее могут часто оказаться именно процессы о делах повседневного, некричащего характера, рисующие печальную жизненную обыденщину, мимо которой часто проходит поверхностный взгляд наблюдателя, но которая указывает на глубокие процессы ненормальности, прочно укрепившиеся в жизни и незаметно, но неуклонно и верно, подтачивающие здоровое, нормальное ее развитие. Каждый, кто внимательно проследит и продумает не-

сколько судебных процессов, увидит, что в них скрываются такие болезненные явления жизни, над которыми очень и очень следует призадуматься, — и тогда судебный процесс явится не только новым раздражающим, — по своей новизне, впечатлением, но и источником глубокой и серьезной мысли.

Но особенно большой и поучительный материал могут собрать юристы, посвятившие себя служению судебному делу. На массе судебных дел, проходящих перед ними, они видят жизнь во всем разнообразии ее положительных и отрицательных явлений, они видят все эти гримасы жизни, и если собрать этот многогранный опыт юристов и подвергнуть его се-резной разработке и оценке, то, в результате, по данным этого материала, может быть поставлен глубокий и верный диагноз болезней жизни и указаны и способы лечения этих болезней. В это дело диагноза болезней жизни я и хочу вложить свой труд, как сводку наблюдений из моей военно-судебной практики.

Воспоминания мои, в главном, относятся к довольно уже отдаленному прошлому, к 1902-1911 гг., захватывая, таким образом, частью мирное время, частью период Русско-Японской войны и революционный период 1905-1906 гг. с его ликвидацией. «Но», могут мне сказать, «ведь это все так давно было, с тех пор так все в России переменялось, что поучительного может дать воспоминание о таком далеком прошлом?». Другие, может быть, скажут: «разве имеют какой-нибудь общий интерес воспоминания о такой ограниченной сфере деятельности, как военно-судебная?». На это я отвечу: Во-первых, в том, что было прежде, всегда есть много поучительного, — ведь и вся последняя революция не возникла сразу в 1917 году, а имеет далекие корни в прошлом, которые нужно знать, чтобы правильно оценить и настоящее; да и не ошибаются ли те, кто думают, что человек и его душевные движения, общество и двигающие им

пружины так скоро меняются? Ведь и революция в самых отрицательных и безобразных ее проявлениях, в сущности, только обострила, обнажила и довела до крайности то, что было темного и жестокого в человеческой природе. А во-вторых, сфера военно-судебной деятельности не была уже так ограничена, как представляется многим. Хотя она в мирное время и касалась, главным образом, обиденных преступлений военнослужащих, но тем самым она входила в ближайшее соприкосновение со всей жизнью армии, отражающей в себе ту же широкую народную массу лишь в особых условиях существования, армии, представляющей собою, конечно, громадный интерес в виду ее роли в общем строе государственной жизни. В эпоху Русско-Японской войны и в революционный период 1905-1906 гг. и в последующее за ним время военно-судебная деятельность значительно расширилась: за время войны военно-судебные учреждения стали лицом к лицу с различными слоями призванного по мобилизации в армию гражданского населения с характерными взглядами, интересами и настроениями того времени, а в революционный период военные суды по всем важнейшим делам, — об убийствах, разбоях, политических движениях и революционных выступлениях, — в силу исключительных положений заменили собой суды гражданского ведомства, и, таким образом, практика военных судов охватила собою все наиболее серьезные эксцессы взбурлившей народной массы. Таким образом, военно-судебное ведомство имело перед собой за то время материал большой и интересный, и, конечно, еще мало кому известный.

Но есть и еще причина, по которой мне хочется поделиться своими воспоминаниями: наблюдения мои по прошедшим за то время судебным делам дали, естественно, известный опыт и в самой технике судебного процесса. Жаль этот опыт оставить

неиспользованным. Ведь пройдет же кровавый кошмар настоящего бесправия, возродится Россия, возродится в ней правовая жизнь, начнут снова в ней действовать судебные учреждения на исконных началах права и справедливости, — но уже и сейчас многие из старого поколения юристов ушли из жизни, уйдут, быть может, и еще некоторые, к делу придут новые лица, придет молодежь, — не сомневаюсь, с идейным стремлением служить правосудию, — но без опыта. Так имеем ли мы право унести с собою свой опыт, не поделиться им с грядущим поколением судебных деятелей, оставить их самих искать себе пути в сложной и ответственной их работе по служению правосудию? Я считаю, что мы обязаны свой опыт передать своим, так сказать, духовным наследникам. В этом отношении должен быть признан одинаково ценным опыт и военных юристов и судебных деятелей гражданского ведомства, — ведь все юристы, и гражданские и военные, воспитывались на общих началах Судебных Уставов Императора Александра II, все одинаково направляли свою деятельность на служение правде и справедливости, все действовали по одинаковым принципам и приемам в деле отыскания истины.

Обо всем, что касается меня лично, я буду писать совершенно откровенно. Тех, имена которых, по каким-либо причинам, нежелательно приводить полностью, я буду называть сокращенно. Одно еще хочу сказать: все, о чем здесь буду писать — правда, здесь нет фантазии.

1928 г.

Загреб

Глава I

Все мы, военные юристы, питомцы Александровской Военно-Юридической Академии. Слушателями академии принимались лишь офицеры, прослужившие перед тем в строю не менее 4 лет, — обуславливалось это тем, что для предстоящей дальнейшей деятельности военные юристы должны быть достаточно знакомы с бытом армии. Ежегодный прием в академию был ограниченный, 15-17 человек, и производился на основании двойного испытания: сначала — экзамены при Штабах Округов, а затем, для выдержавших эти экзамены, конкурсный экзамен при академии, естественно, в силу ограниченности вакансий, с очень строгой нормой: в 1899 году, когда я поступил в академию, были по конкурсу приняты лишь лица, получившие в среднем 10,17. Офицеры, принятые в академию, продолжали считаться в списках своих частей, в постоянной командировке, подчиняясь уже исключительно Начальнику академии. Курс в академии — трехлетний; первые два года были посвящены обще юридическим наукам, по курсу юридического факультета университета (кроме римского права, торгового права и статистики, но с добавлением, как обязательных предметов, психологии, анатомии и физиологии и судебной медицины), а третий — специально военно-юридическим. Профессоров академия имела возможность приглашать из Петербургского университета и Лицея, и имена их — профессора Гольмстен (гражданское право), Дерюжинский (гражданский процесс), Grimm (энциклопедия права).

Теоретическую подготовку академия давала нам серьезную, готовность к идейному служению в армии делу правосудия была у нас самая искренняя, все мы, не только слушатели одного выпуска, но и слушатели других курсов, которые заставляли друг друга в академии, очень близко стояли друг к другу, и эта

общность идей и интересов связывала всех нас, разошедшихся затем по великому пространству России.

По установленному порядку, окончившие академию прикомандировывались на один год к различным военно-окружным судам; затем, если этот служебный стаж давал положительные результаты, прикомандированные переводились в военно-судебное ведомство «кандидатами на военно-судебные должности»; по отбытии этого стажа, в общем порядке служебного повышения, через известное число лет, шли назначения на должности помощников военных прокуроров и военных следователей, — а затем уже, для прошедших все эти должности, приблизительно через 15 лет пребывания в военно-судебном ведомстве, получалось назначение военными судьями, с производством в генерал-майоры, и, в сущности, на этом, в общем правиле, и заканчивалась карьера большинства чинов военно-судебного ведомства, ибо последующие затем должности прокуроров и председателей, судов, — по одному на суд, — были слишком малочисленны, чтобы каждый военный судья мог безусловно на них рассчитывать. Этот порядок службы уже определенно указывал, что военно-судебное ведомство большой карьеры не обещает, и это отсутствие карьерных соображений придавало особо симпатичный характер службе в ведомстве; да и в денежном отношении служба в военно-судебном ведомстве не удовлетворила бы лиц, стремящихся к материальным благам. Но, взамен этого, служба в военно-судебном ведомстве давала громадные преимущества: прекрасные взаимные отношения и серьезная, идейная, по призванию и убеждению, работа.

Я окончил академию в 1902 году и был прикомандирован к Московскому военно-окружному суду. В составе суда и военно-прокурорского надзора я застал лиц, уже много и много послуживших по военно-судебному ведомству. Атмосфера в суде и в надзоре была прекрасная, — чувствовалось, что все здесь люди

одного образования, одних идей; во взаимных отношениях всегда проявлялась полная доброжелательность; особенно симпатичный колорит придавала всему военный прокурор генерал Иванов, спокойный, радушный, старый русский барин — в личных отношениях безукоризненно выдержанный, в служебных — проявлявший полное внимание и доверие к работе каждого из нас. Одним словом, обстановка не оставляла желать ничего лучшего. Надо было только начинать действительную работу.

Прикомандированные и кандидаты на военно-судебные должности исполняли общую работу военно-прокурорского надзора по рассмотрению поступающих в надзор дознаний и предварительных следствий и по составлению по ним заключений и обвинительных актов, а в судебных заседаниях выступали в качестве защитников как в месте нахождения суда, так и в выездных его сессиях. В этих двух формах и было мое первое соприкосновение с военно-судебными делами военно-окружного суда. Конечно, первое время дел сложных и ответственных прикомандированные и кандидаты не получали, — их рассматривали помощники военного прокурора, — но каждому из нас могла выпасть защита и по очень серьезному делу.

Отлично помню свои первые впечатления: как бы ни было по внешности незначительно дело, — ясно вставало сознание нравственной ответственности за него; в каждом деле чувствовалась скрытая за ним жизнь: за формальными актами дознания и следствия стояла живая личность обвиняемого; ясно сознавалась необходимость борьбы с преступлениями, но и необходимость осторожности и в определении виновности того или другого лица, и в определении характера и размера наказания. Каждый из нас понимал, что приговор суда должен быть голосом величайшей справедливости, что как оправдание виновного нарушает идею правосудия, так и осуждение невиновного есть жесточайший удар по правосудию. Каждый понимал, что и

самое незначительное по нашим военно-уголовным законам наказание, — одиночное заключение в военной тюрьме, — хотя бы и на самый малый срок (от 1 до 4 месяцев), — не шутка, не игра. Все мы помнили завет А.Ф.Кони: «обвиняемый — еще не преступник, но и преступник человек». Поэтому и понятна постоянная тревога не только в деле решения вопроса о виновности подсудимого, но и в деле определения наказания, и тревога не только судьи, но и каждого, кто имеет отношение к решению судебного дела.

Обшил задачи и общее направление работы определялись совершенно ясно. Военно-судебная деятельность имеет задачей борьбу с преступлениями в армии. Деятельность по борьбе с преступлениями есть, в сущности, одна из сторон общей идейной работы, направленной на создание и поддержание нормальных, здоровых условий существования в той или иной области жизни. Чем важнее та сфера, в которой проявляется эта идейная работа, тем выше и благотворнее должна быть признана и самая деятельность. В этом смысле работа по созданию здоровых условий жизни армии и работа по борьбе с преступлениями в армии являются в высшей степени серьезными по своему значению. Ведь армия одна из самых главных частей государственного организма, — она служит охранению целостности и величия государства. Кроме технической стороны, — вооружения, боевых средств, специального военного обучения, определяющих достоинство армии, как боевой силы, — громадное значение имеет и моральное состояние армии, начала, на которых строится ее быт, которые определяют внутренние отношения в армии, заветы, которыми армия живет. Армия — носительница лучших начал государственности. Не стало армии, как стройной, идейно-сорганизованной силы, живущей святыми заветами, — не стало и величия России. Но и это еще не все: армия — живая часть народа, армия — школа народа. Армия

ежегодно вбирает в себя значительное число из населения, держит этих людей в своем составе известное время и потом опять отдает их гражданскому быту. Ведь, в сущности, более 30% мужского населения проходит через армию. Приходят они в армию в возрасте, когда только-только, можно считать, начинает серьезно сформировываться человек, и уходят в гражданский быт, в общем, в возрасте 24-25 лет, уже в зрелом вполне возрасте. Все, что они добыли до времени призыва, — все они приносят с собой в армию; все, что им даст армия за время пребывания в ней, — они унесут с собой в гражданский быт; сумеет армия воспитать в проходящих через нее лицах здоровые государственные, национальные и общественные убеждения, — с этими здоровыми убеждениями вернутся эти лица в широкий простор гражданской жизни. Армия и жизнь ее поэтому достойны глубокого внимания и серьезного изучения и серьезной работы над нею.

В интересах этого изучения армии и работы над нею постараюсь систематизировать добытые моим наблюдением и опытом данные, касающиеся, в основных чертах, жизни армии, преступлений, встречающихся в ее среде, и способов и форм борьбы с этими преступлениями. Для начала ограничусь только тем материалом, который относился к мирному времени, до начала Русско-Японской войны; лишь в некоторых случаях я вынужден буду касаться здесь фактов и явлений, наблюдавшихся за время этой войны, но все же лишь таких, которые собственно с военным временем не были связаны.

Что, собственно, представляет из себя армия? Ядро ее составляет организующий, воспитывающий аппарат, — офицерский состав, из лиц, посвятивших себя служению армии, отдающих ей все свои силы и жизнь, — величина, более или менее, постоянная. Остальная масса армии — состав переменный, солдаты, приходящие в армию из населения на известный срок, 3-4 года, и потом снова возвращающиеся в гражданский быт; из

среды солдат некоторые, наиболее развитые и прочные в нравственных основах, назначаются унтер-офицерами и являются помощниками офицеров в деле обучения и воспитания остальной солдатской массы; лишь незначительное число этих унтер-офицеров остается, по отбытии срока обязательной службы, на сверхсрочной службе, отдавая себя, таким образом, на более долгое служение армии. Что же представляет собою ежегодно приходящая в армию масса населения? Каждый, конечно, знает тот момент, когда в роту, батарею приходят новобранцы, всем своим видом они показывают, что они пока совершенно чужие войску. Представляют ли они совершенно сырой материал, над которым, как над невозделанной, нетронутой почвой, может работать воспитывающий состав армии? — Конечно, нет! Правда, все это молодежь в возрасте 21 года, духовно еще не совсем зрелая, но уже за эти 21 год вобравшая в себя многое из той социальной среды, в которой она жила. В большинстве они крестьяне или городские рабочие, и надо знать обстановку крестьянской и рабочей жизни, чтобы понять, какие именно следы могла оставить эта жизнь на этих, призываемых в армию новобранцах; одни жили в мирной обстановке деревни, духовно срослись с земледельческим трудом, сами как бы составляют часть здоровой природы, — но некоторых из них уже коснулись и отрицательные стороны деревенской жизни, — грубость, разгул, пьянство; другие уже испытали фабричную жизнь с ее очень нездоровыми впечатлениями, испытали соблазны города, испытали борьбу за жизнь в ее острых формах. Хорошо, если у тех и у других из всей массы жизненных впечатлений получили перевес здоровые начала, создалось известное чистое, идейное отношение к жизни, — но ведь нельзя же отрицать и обратного, что некоторых из них больше подчинили себе отрицательные воздействия окружающей их среды, что к некоторым из них уже начали прививаться порочные наклонности, что в

них уже начал образовываться известный противовес принципиальным идейным требованиям личной и общественной жизни. И во всяком случае и те и другие, приходя в армию, еще полностью живут своими прошлыми впечатлениями, они еще всеми своими духовными нитями связаны с прошлым. Идут ли они в армию с ярким сознанием великой предстоящей им задачи, с готовностью отдать армии свои силы, ради великой ее идеи? К сожалению, нет: общественная среда слишком мало подготавливает молодежь к пониманию великого значения армии и почти совершенно не воспитывает сознания о необходимости службы в войске. Воинская повинность рассматривается именно как повинность, как обязательство, подчас неприятное. Подъема, стремления в военную службу в массе нет, разве в исключениях. Служба для большинства не является заманчивой перспективой. Есть старая солдатская песня, где солдатская жизнь, и при всей тяжести ее тогда почти бессрочной службы, рисовалась привлекательной: «Солдат пашенки не пашет, Косы в руки не берет,»; они, солдаты, «...пьют, едят готовое, Цветно платье носят государево.»

Но общему настроению позднейшего времени скорее, провидимому, свойственна другая песня, где солдатская жизнь представляется тяжелой: «Нам постелюшка — мать сыра земля, Нам зголовьице — зло кореньце, Одеялышко — ветры буйные,» или песня, где солдат печалится, что «грозна служба государева» занесла его на незнакомую сторонушку, а «На чужой дальней сторонушке Ни отца нету, ни матери, Ни брата, ни родной сестры, Ни молодой жёны, ни детушек. На чужой дальней сторонушке Что ложился я, добрый молодец, «На голых досках, без постелюшки, Умывался я, добрый молодец, Что своими горячими слезами.»

Тяжелой, иногда прямо мрачной, представляется большинству ожидающая их военная служба, — для одних это прекращение привольной, свободной, иногда с нездоровыми приманками, жизни, для других — лишение мирного семейного уюта, и для всех вообще перспектива известного строгого режима, подчинения, принудительного порядка.

Таким образом армия из гражданского быта ежегодно получает на 1/3 - 1/4 своего состава лиц, совершенно еще чуждых главным задачам армии, лиц, идущих в армию без порыва, без желанья, частью даже с известной враждебностью к этому, отрывающему их от привычных условий, миру, лиц, в смысле идейно-государственном, почти совершенно невоспитанных, лиц, всеми своими помыслами и желаниями связанных с той средой, в которой они жили, и, зачастую, впитавших в себя из этой среды иногда узко эгоистические, иногда и совершенно нездоровые начала и стремления. И если русский солдат в боевой обстановке поражает мир стойкостью и геройством, то это должно быть отнесено к великой чести армии и ее воспитательного состава, сумевшего сделать солдата таким, сумевшего использовать все лучшие, глубоко лежащие, свойства русского народного духа, сумевшего побороть известную пассивность приходящих в армию людей, сумевшего развить в солдате чувства патриотизма, чести и долга, из «обывателя» сделать героя. Каждому понятно, как велика и трудна эта задача, и понятно, что выполнение ее есть результат глубокой преданности делу руководителей армии — офицеров.

Постороннему глазу даже трудно охватить всю ту неустанную, кропотливую работу, которая ведется в частях войск в направлении общего и воинского воспитания солдат, — последовательно, шаг за шагом, из разрозненных, разбитых, иногда неустойчивых элементов гражданского быта выковывается прочная идейная сила с прояснившимися светлыми идейными

принципами, до тех пор где-то скрывавшимися и неоформленными, крепко спаянная, поднявшаяся над себялюбивыми интересами обывательщины, живущая интересами жертвенного служения родине. Сколько любви и неустанной, самоотверженной работы вкладывается в это дело офицерами! Если еще в молодых годах случается, что офицер больше занят сам собой, то с годами службы его привязанность к делу растет, — и разве редки случаи, что, например, для ротного командира его рота едва ли не дороже семьи? Тому же делу идейного воспитания армии безукоризненно честно служат, в большинстве, и унтер-офицеры и при их кратковременном пребывании в армии, тому же делу служат и те отдельные солдаты, которые ясным разумом сумеют схватить всю идейную сторону военной службы и которые самым своим примером, всю свою личность облагораживающе, поднимающе действуют на остальных.

И все же, — при всей напряженности и идейности воспитания армии, — и в армии совершаются преступления. Причина ясна: слишком сложное существо человек, слишком много в нем того, что еще не поддается учету, слишком сложна сама жизнь, да и вряд ли вообще возможно сделать условия жизни настолько идеальными, чтобы не было повода для преступлений, чтобы в душе человека не шевельнулась иногда преступная мысль и не претворилась бы в действие. И семья и школа ведут воспитание детей, однако и они добиться идеального успеха не могут; родители, с детских лет ведущие воспитание своего сына, часто могут проглядеть его индивидуальные особенности и посторонние на него влияния и иногда бывают поражены такими явлениями или фактами, которые совершенно не укладываются в их представление о сыне. Насколько же тяжелее отвечать за воспитание людей, поступающих под ваше наблюдение уже в возрасте 21 года! Я уже ранее говорил, какую разнообраз-

ную картину дают собою приходящие ежегодно в войска новобранцы; этот материал иногда и не поддается воспитательному воздействию в полной мере; особенности индивидуального характера того или иного солдата и принесенные им из своей прошлой жизни взгляды, привычки, а иногда и порочные наклонности часто остаются скрытыми и от самого наблюдательного глаза и затем лишь, совершенно неожиданно, прорываются в форме того или иного преступления. Для примера приведу один из случаев своей практики, указывающий, с какого рода явлениями приходится встречаться в армии; расскажу его со всеми подробностями, так как только тогда будет ясно все его значение.

В 1903 году, в выездной сессии военно-окружного суда в Орле мне пришлось защищать солдата Ра-ского. Обвинялся он в побеге со службы и в целом ряде преступлений против дисциплины. По общему отзыву, это был очень тяжелый, неприятный, недисциплинированный солдат, и, в сущности, извинений его преступлениям трудно было бы найти; не сомневаюсь, что его ждал бы обвинительный приговор. На меня он сразу произвел впечатление человека очень развитого и очень резкого. На судебное заседание по этому делу пришел, в качестве слушателя, директор психиатрической больницы Орловского земства в «Кишкинке» (9 верст от Орла) Павел Иванович Якобий. Во время одного из перерывов заседания г. Якобий подходит ко мне и говорит: «Вы знаете ли, — ведь этот обвиняемый эпилептик; у него малая эпилепсия, проявляющаяся обыкновенно в ночных припадках, так что он и сам ее не замечает, но Вы, наверное, найдете у него такие-то физиологические признаки.» Переговорив с помощником военного прокурора, я возбудил перед судом ходатайство о том, чтобы, воспользовавшись находением в зале заседания психиатра, произвести судебно-

медицинское освидетельствование обвиняемого. Суд удовлетворил это ходатайство и тут же доктор Якобий произвел экспертизу, демонстрируя нам у Ра-ского как раз те физиологические признаки эпилепсии, о которых он говорил. Суд постановил дело слушанием приостановить и направить обвиняемого на дальнейшее судебно-медицинское освидетельствование. Путем официальных сношений Ра-ский был направлен на наблюдение в «Кишкинку». Через несколько месяцев, с объявлением Русско-Японской войны, я был назначен исполняющим должность следователя по Орловскому участку и в самом же начале мне пришлось, уже в качестве следователя, продолжать обследование по делу о Ра-ском именно в отношении его ненормальности. Я должен был, между прочим, путем опроса обвиняемого, собрать все данные, касающиеся его прошлой жизни, наследственности и т.д. Перед этим я повидался с доктором Якобием, он рассказал мне о своих наблюдениях над Ра-ским за время пребывания его в Кишкинке, подтвердил несомненность своего прежнего заключения об его ненормальности. Надо сказать, что «Кишкинка» представляла собою исключительно интересное по организации учреждение, — далее опишу ее подробнее, — там все душевно-больные находятся на свободе, занимается каждый, кто чем хочет и может, — и на такой же свободе находился и Ра-ский. Однако, когда мне пришлось производить опрос Ра-ского, он уже был переведен в городское психиатрическое отделение, где больные содержались в комнатах с решетками. При встрече на этом допросе я сразу заметил, что Ра-ский раздражен и даже на меня, — хотя он не мог же не сознавать, что я ему никак уже зла не желаю, — смотрит враждебно. Оставшись с ним один в комнате, я спросил его, чего он так враждебно смотрит, — он сказал, что теперь он на все взбешен, именно за то, что его посадили за решетку, — «там (в Кишкинке) мне верили, не запирали, и я держал себя честно,

не ушел, а теперь заперли, — непременно убегу.» Понемногу, однако, он смягчился и вполне искренно рассказал всю свою-прошлую жизнь. Он с детства стал сиротой, с 4-х лет его приютила у себя его бывшая няня, но она сама была бедная и о нем заботиться не могла. Целыми днями он был на улице, зимой часто забирался в Москве в Тургеневскую библиотеку, чтобы согреться, и там высиживал, сколько было можно, все читал. Потом попал в компанию воров и сам соблазнился, — и не только соблазнился, но его захватил даже задор. Тут он мне рассказал о целом ряде своих краж, но были и разбои. Так, раз в Петровском-Разумовском он с компанией решили обобрать одного богатого старика; было условлено, что он, Ра-ский, и еще другой его товарищ зайдут в дом, а на случай, если бы этот старик бросился к окошку звать на помощь, снаружи у этого окна был оставлен третий их компаньон, который должен был «стукнуть» старика ломиком; случилось, однако, так, что старик не испугался и как раз самого Ра-ского погнал в это самое окошко, — и только Ра-ский хотел выпрыгнуть, компаньон как раз «хватил» его ломиком по голове. Много фактов подобного же рода рассказал о себе Ра-ский. Посидел он и в тюрьме несколько раз. Я, наконец, спросил его:

«Слушай, Ра-ский, ведь ты способный человек, ведь ты же мог бы выйти на честную дорогу, — неужели же тебе не стыдно воровать? ведь ты, может быть, иногда при этих кражах лишал человека последнего, что он имеет!»

— «Никак нет», отвечал он, «я знал, у кого брать, я брал только у тех, у кого есть лишнее.»

«Но ты ведь, все-таки, крал, ведь нечестно же красть!»

— «Почему нечестно?», отвечал он, «все же крадут, только одни имеют патент на воровство, а я не имею.»

«Постой», говорю я, «если ты с этим, насчет честности, не согласен, то вот ты уже сидел в тюрьме, знаешь, как это не

сладко, и, если будешь воровать, еще, наверное, попадешь в тюрьму, — неужели же тебя это не останавливает?»

— «Нет», говорит, «это уже не так страшно, ну, отсижу, а зато как я живал иногда! Эх, не видали Вы меня в енотовой шубе, с золотыми часами, на рысаках! — а попадешься, уже что же делать!»

Так мы и расстались каждый при своем мнении. Дело его так до конца и не дошло, — он, как и собирался, убежал.

Приведу другой случай: в том же Орле, в той же сессии, судился вольноопределяющийся ...-уфьев. Это был человек с образованием 4-х классов гимназии, но человек до ничтожества убогий, абсолютно неразвитой и по внешнему виду производивший самое неблагоприятное впечатление, тщедушный, неряшливый. В бытность в роте он ни в чем дурном замечен не был, только, благодаря указанным его свойствам, все на него в роте смотрели с некоторым пренебрежением. А судился он за ряд больших краж и мошенничеств, совершенных за время пребывания в отпуску: были очень ловкие кражи велосипедов, были довольно забавные и хитро задуманные мошенничества с дамскими часиками, но самым главным было одно крупное мошенничество: он явился к одному из очень известных тогда губернаторов, в форме эстандарт-юнкера блестящего кавалерийского полка, назвался, — по созвучию с своей фамилией, — графом Олсуфьевым, отдаленным родственником губернатора, и сумел выманить 5000 рублей. Никто не мог бы предположить таких скрытых в нем богатых способностей.

Эти два случая представляются, конечно, очень резкими, но есть масса менее резких, но также существенно серьезных, показывающих, что иногда да времени остаются необнаруженными такие данные характера или наклонностей того или другого лица, с которыми на самом деле следовало бы очень и

очень считаться, чтобы парализовать возможность проявления их в преступной форме.

Какие же возможны способы и формы борьбы с преступлениями? Преступление есть эксцесс личности против правового порядка или условий жизни. В значительной части преступлений играет роль преступная воля совершителя, но, несомненно, на возникновение и развитие преступности влияют и известные неблагоприятные условия самой жизни, так или иначе создающие почву или побуждения к совершению преступлений. Поэтому задачи по борьбе с преступлениями, — как в общем масштабе, так и в армии, — вовсе не исчерпываются простым применением наказаний к совершителям преступлений, а должны прежде всего состоять в создании здоровых условий жизни, в широкой идейной воспитательной работе и в устранении из жизни всего того, что так или иначе может создавать почву или побуждения для совершения преступлений. Порочным уклонам или надломам общечеловеческой психики, принесенным в армию вошедшими в нее людьми, извне, армия должна противопоставить здоровые принципы жизни. По отношению к лицам, приходящим в армию уже с уголовным прошлым, для армии необходимо иметь соответствующие сведения от тех общественных организаций, к которым эти лица принадлежали до службы. Лиц, в которых порочные наклонности живут еще в скрытом состоянии, армия должна постараться обнаружить сама, — это, конечно, требует особой наблюдательности и опытности. По отношению к лицам обеих этих категорий меры воспитательного воздействия должны быть поставлены особенно внимательно и широко.

Другой, весьма существенной мерой удержания людей с нездоровыми наклонностями от проявления этих наклонностей в форме преступлений, должен явиться надзор за ними, с

целью создания для таких лиц фактических препятствий для совершения преступлений. В армии этот надзор частью уже осуществляется сам собой, в силу того, что здесь каждый солдат, в условиях казарменной обстановки, постоянно на виду, но по отношению к лицам, чем-либо себя отрицательно заявляющим, надзор должен получить уже и специальный характер. Затем, конечно, в армии большую роль в смысле препятствия к совершению преступлений играет и то, что и вне казарм солдат в определенной форме слишком заметен, — ему уже не так легко доступ в различные притоны, ему уже не так легко скрыться незамеченным в толпе. Благодаря указанным данным, безусловно, в бытность в рядах армии даже и порочными элементами совершается меньше преступлений, чем было бы совершено при нахождении их в условиях свободной жизни в гражданском быту.

Но, когда и меры воспитательного воздействия и меры надзора окажутся практически недостаточными, когда преступная воля все же выбьется из ставимых ей преград и преступление будет совершено, — тогда, в качестве последнего средства, должно быть применено карательное воздействие, наказание виновного. Но и в этом случае наказание виновного не должно носить характера простого механического возмездия за совершенное преступление, а должно быть лишь видом борьбы с злой волей преступника, воздействием на преступное направление его воли, с целью заставить его, испытав тяжесть кары, одуматься, остановиться, отказаться на будущее время от преступной деятельности. Вместе с тем наказание виновного должно воспитывающе действовать и на других, чтобы заставить тех, в ком также живут преступные стремления, сдерживать, побороть эти стремления. Ничего механического, ничего непридуманного, ничего случайного в деле борьбы с преступлениями допущено быть не может.

Приведенные соображения, конечно, имеют силу по отношению ко всем видам преступлений, т.е. как к преступлениям общеуголовного характера, которые могут быть одинаково совершены и в условиях гражданского быта и в армии, — как то разного рода насилия, неуважение к чужой личности, преступления корыстного характера, — так и к преступлениям, возникающим в особых условиях существования армии и составляющим нарушения тех специальных требований, которые предъявляются военной службой. Говоря в настоящее время об армии, я остановлюсь сравнительно подробно на преступлениях этого второго рода, так как они очень больно задевают нормальный строй жизни армии и часто очень тяжело отражаются на судьбе их совершителей и поэтому требуют особенно вдумчивого отношения к их природе и к формам целесообразной борьбы с ними. К таким преступлениям, главным образом, относятся:

- 1) уклонение от службы,
- 2) преступления против дисциплины, и
- 3) нарушения караульной службы.

О каждой из этих групп следует поговорить отдельно.

1) Уклонение от службы. В основе этой группы преступлений лежит или упорное нежелание подчиниться обязательству службы, как общегражданскому долгу, или нежелание расстаться с прежней привольной жизнью и подчиниться необходимости жить известное время в стеснительных условиях дисциплины, или, наконец, обостренный страх перед военной службой, — т.е. или страх ее тягестей, «притеснений», или страх опасности этой службы в случае войны. В более житейских формулах я бы эти основания уклонения от службы определил так: или «мне говорят, что я должен, — а я не хочу, или «я знаю, что я должен, — но как бы мне от этого избавиться?» или «я знаю, что я должен, — но я так этого боюсь!».

Собственно говоря, мысль об освобождении себя от службы почти всегда зарождается у того или другого лица еще до призыва и часто уже тогда начинают приниматься и меры к освобождению; иногда эта контр-призывная подготовка ведется очень интенсивно и даже при участии имеющегося на местах целого штата доброжелателей в лице каких-нибудь доморощенных фельдшеров или просто артистов своего дела, подготовляющих желающих, смотря по цене, и болезни, или дающих им специальные советы. В некоторых случаях, несомненно, замысел удастся, если же он не удастся до принятия на службу, то осуществление его переносится уже на время поступления и прибытия в войсковые части. Уклонение от службы в таких случаях проявляется в трех типичных формах: а) в форме побегов со службы, б) в форме ложных заявлений о несуществующей болезни, и в) в форме причинения себе искусственных болезней или повреждений.

Самой простой формой уклонения являются, конечно, побег. О них говорить много не приходится. В большинстве случаев побег указывает именно на желание сбросить с себя обязательства, налагаемые службой, и наказание за побег является совершенно естественным, можно говорить только о форме и размере наказания, — но это уже составляет особый вопрос. Однако, на побег решается не всякий, — средство это не совсем верное, могут поймать, да и не совсем удобное, — ведь бежавшему уже домой вернуться нельзя, обязательно задержат, и приходится обречь себя на скитания с подложным паспортом, что не всякому улыбается. Поэтому встают на очередь два другие способа, — т.е. ложное заявление о болезни или искусственное причинение болезни или увечья, т.е., собственно, создание такой обстановки, при которой начальство поверило бы в на-

личность определенного дефекта здоровья данного лица и законным актом освободило бы его от службы. О каждом из этих двух способов следует поговорить отдельно.

Заявление о несуществующей болезни, очевидно, указывает на меньшее напряжение злой воли и поэтому и военно-уголовный закон относится к этой форме уклонения мягче. Заявления бывают о самых разнообразных болезнях или дефектах. Очень часто, например, делаются ссылки на потерю слуха и зрения, — «ничего не слышу», «ничего не вижу», «не вижу на правый глаз». Иногда таких симулирующих очень легко поймать; например, того, кто говорит, что он ничего не слышит, неожиданно, в тот момент, когда он не следит за собою, окликают, или говорят ему о каком-либо очень интересующем его факте, — по выражению лица сразу можно определить, слышит он или нет; одного такого, который говорил, что ничего не видит, уличили во лжи самым примитивным приемом: председатель комиссии снял с него фуражку и бросил в сторону под стол, а затем отпустил его, и тот пошел и поднял свою фуражку; для уличения тех, кто заявляет, что он не слышит на одно ухо или не видит на один глаз, существуют очень остроумные приборы и приемы, — тайны их открывать не буду, — которые безошибочно установят, если он лжет. Иногда виновный попадет на том, что он очень уже невероятно описывает признаки болезни, — они в таком случае любят сгущать краски. Особенно характерны в этом отношении симулянты душевных болезней, — по их мнению, сумасшедший должен делать все наоборот по сравнению с нормальным человеком, — дадут ему папиросу, — он съест ее, позовут в комнату, предложат стул, — а он сядет на пол, его зовут, — а он смотрит в другую сторону и т.д. Обыкновенно при этом получается картина удивительного сочетания всех форм всех душевных болезней. Таких симулянтов уличить, обыкновенно,

не трудно, — и наказание для них, — 1-1½ года дисциплинарного батальона, — вполне подходящее.

Тяжелее и сложнее случаи искусственного причинения себе болезни и увечья. Тут налицо действительная болезнь или увечье, вопрос только в том, явились ли они естественно или причинены самим подозреваемым или другим кем-нибудь. Упорство виновных в некоторых случаях причинения себе болезни иногда доходит до крайности. В очень интересной книге «Об искусственных и притворных болезнях у призываемых на военную службу и у солдат» — к сожалению, боюсь ошибиться в фамилии автора, — кажется, доктора Орлова, — я помню поразительный в этом смысле случай. К этому доктору попал на наблюдение молодой солдат с очень серьезной болезнью уха; доктор его внимательно раз спрашивал о причине, не сделал ли он сам чего-нибудь с ухом, тот уверял, что ничего не делал, что заболело само, а отчего, не знает; болезнь резко ухудшалась и никакие средства лечения не помогали, — доктор считал, что болезнь произошла естественно, — и только уже в самый тяжелый период болезни больной сознался, что он сделал с ухом, — но уже было поздно, на другой день он умер.

Распознавание искусственно причиненных болезней в некоторых случаях крайне трудно. Особенно трудно распознавание именно болезней уха. По мнению врачей, происхождение болезни уха можно безошибочно определить только в течение 3-4 дней по заболевании, — тогда след искусственной болезни определяется очень ясно, но если пройдут эти 3-4 дня, распознавание становится нелегким; иногда, если болезнь произведена вливанием в ухо какой-нибудь едкой жидкости, можно заметить следы ожога в ухе и след струйки, как жидкость выливалась по щеке, — но это бывает не так часто. Эту особенность ушных заболеваний уклоняющиеся отлично знают, — такие бо-

лезни, обыкновенно, делаются с помощью других, или, в крайнем случае, при опытном руководстве, — и поэтому никогда не приходят к врачу в течение ближайших дней, а так, приблизительно, через неделю. Картина, обыкновенно, такая: на утреннем осмотре молодой солдат просит послать его к врачу: «Что у тебя?» — «Ухо болит.» Врач сейчас же спросит: «Отчего это у тебя?» — «Не могу знать!» — «А давно заболело?» — «Да с неделю.» — «Что же ты сразу не пришел?» — «Думал, что так пройдет!» — вот и возникает затруднение. Нелегко определяются и болезни грудных органов, кровохаркание и т.д. Для всех этих случаев врач должен быть очень опытным, но, в интересах истины, и не должен быть слишком подозрительным, т.е. не должен в каждом таком больном заранее подозревать уклоняющегося. Помню один прямо-таки загадочный случай: в батарею явился молодой солдат, — и, оказывается, глухонемой. Первый вопрос: как же его приняли в присутствии по воинской повинности? — очевидно, тогда и слышал и говорил. Затем нашлись свидетели, будто бы он в первый день прибытия в батарею сказал: «я их всех проведу». Но он все-таки ничего не говорит и как будто ничего не слышит — и все это носит очень правдоподобный характер, тогда как медицинское исследование указывает на полную нормальность органов слуха и речи; солдаты, как я потом узнал, делали такой опыт: ночью кололи его в пятку булавкой, — проснется, но даже не вскрикнет. К сожалению, не знаю, чем окончилось дело; знаю, что врачи высказывали различные мнения: одни находили, что это, безусловно, симуляция, поддерживаемая, быть может, внушением или самовнушением, другие считали, что это явление на нервной почве. Ошибиться в таком случае было бы очень обидно.

Причинение себе увечий или так называемое «членовредительство» происходит, обыкновенно, самым примитивным

способом, путем отрубления себе пальцев, в самой примитивной обстановке и с самыми наивными объяснениями. Прибегают к нему, обыкновенно, наименее изворотливые люди. Тенденция рубить пальцы начальству известна и поэтому было-определенно запрещено молодым солдатам пользоваться для чего бы то ни было топором и их не назначали даже на работы, соединенные с необходимостью пользоваться топором, т.е. на колку дров и т.д. Но все же пальцы себе рубятся и рубятся и, обыкновенно, так: ходит, ходит молодой солдат мрачный, вдруг куда-то скрылся, и скоро слышат крик, его и он выходит с рукой, обмотанной платком; — все догадываются, в чем дело, пальца, а то и двух, нет; начинают расспрашивать, — говорит, что хотел себе что-то сделать (часто «щелкун», т.е. приспособление для чистки пояса, хотя их всегда и без того много), да топор как-то сорвался и отсек палец. Установить виновность, обыкновенно, нет никакого труда. Во-первых, рубят, как бы случайно, как раз только те пальцы, отсутствие которых мешает службе, и прежде всего службе именно в данном роде оружия, в пехоте — указательный палец правой руки, в кавалерии — пальцы левой руки, в которых должно держать поводья, — затем, никогда не рубят тех пальцев, отсутствие которых не считается препятствием к службе, и, наконец, никогда не рубится больше того, что считается необходимым для освобождения. О том, какие пальцы рубить, существуют, впрочем, особые традиции по местностям, например, уроженцы Вятской и Пермской губерний рубят себе, обыкновенно, большие пальцы, — им, очевидно, известно, что и недостаток одного большого пальца, даже левой руки, считается основанием для освобождения; в губерниях западного края об этом, вероятно, мало знали, или не совсем этому верили, а может быть, больше дорожили большими пальцами. Во-вторых, отсекший себе палец на правой руке всегда заявляет, что он

«левша», — но это обыкновенно, совершенно опровергается медицинским исследованием (левая рука оказывается гораздо меньше развитой, чем правая) и свидетелями. В-третьих, весь ход действий, обыкновенно, виден на той «чужке», на которой он рубил; топор в нее, конечно, врезается, и всегда с края, т.е. там, где можно положить плотно только желаемые пальцы и подогнуть остальные, — и часто в этом месте видите такую картину: несколько слабых следов удара (примеривался!) и затем один глубокий, решительный. Наконец, очень характерно для таких случаев, что никогда такого отрубления пальцев не бывает на людях, а всегда это происходит в каком-нибудь укромном уголке, и при этом рубят пальцы только молодые солдаты, а уже со второго года даже и с лицами, не привыкшими владеть топором, таких случаев не бывает.

Таких примитивных отрубателей, — именно потому, что это всегда люди особенно неразвитые и действующие в состоянии глубокой подавленности и страха перед службой, — мне лично всегда бывало очень жаль. Особенно мне памятен такой случай. Производил я следствие об одном молодом солдате, — с оригинальной фамилией «Дядя», — отрубившем себе два пальца. В умышленности даже не было и сомнений, так что, очевидно, его ждало предание суду и обвинительный приговор, а между тем, как раз через два-три дня после того, как он себе отрубил пальцы, в полк пришло извещение, что он, кажется, по дальнему номеру жребия, подлежит освобождению от службы. Что же случилось? Не отруби он себе пальцев, он бы спокойно ушел домой, а теперь он будет служить полный срок, т.к. членовредители безусловно подлежат приему на службу, остался без пальцев и еще должен отбыть 1-1½ года дисциплинарного батальона.

Но, еще раз повторяю, во всех этих делах по обвинению в заявлении о несуществующей болезни или в причинении вреда

здоровью надо быть очень осторожным. В самом начале моей деятельности был такой случай. В Московский военно-окружный суд поступило, в порядке возобновления, дело о молодом солдате Ш-овском, рассмотренное раньше в выездной сессии Виленского военно-окружного суда, по которому Ш-овский был признан виновным в искусственном причинении себе атрофии правой руки с целью уклониться от службы и уже отбыл около 1½ года дисциплинарного батальона. Возобновление дел, по которым приговор уже вступил в законную силу, допускается только в исключительных случаях, когда откроются обстоятельства, несомненно указывающие на невиновность осужденного. Я был назначен защитником. Прочитал дело и у меня явился вопрос: по какой, собственно, причине дело возобновлено? Обстановка дела была такая: Ш-овский прибыл в один из полков, расположенных в Виленском военном округе, и все сразу же обратили внимание, что он постоянно держит правую руку согнуто под прямым углом в локте, говорит, что он не может ее разогнуть, и на этом основании отказывается от гимнастики, от занятий с винтовкой и т.д. Полковые врачи никакого органического повреждения, которое обуславливало бы такое положение руки, не нашли, и предупредили его, что, если он будет постоянно так держать руку, то через 1-1½ года она у него атрофируется. Никто из товарищей солдат и из начальства не верил в наличие у него болезни руки и считали такое держание руки притворством; один из унтер-офицеров даже раз, на свой страх и риск, заставил его этой рукой поднять винтовку, — и рука в локте разогнулась; пробовали, говорит этот унтер-офицер, разгибать ему эту руку ночью, — разгибается, но когда он проснется, то опять же согнет руку и долго уже не спит. Посылали его на испытание в госпиталь, потом в местный лазарет, — и там и там врачи признали наличие симуляции болезни и опять же его предупредили, что, если будет долго так держать

руку, то она безусловно атрофируется; экспертиза предварительного следствия также признала симуляцию. Ш-овский был тогда предан суду и на суде экспертиза также была не в его пользу, — и он был признан виновным и осужден на 2 года в дисциплинарный батальон. Года через 1½, как я уже сказал, после осуждения дело было возобновлено на том основании, что врач дисциплинарного батальона установил у Ш-овского атрофию правой руки. Но тогда, естественно, встал передо мной вопрос: разве это достаточная причина для возобновления дела? — ведь ему и было сказано, что, если он будет продолжать держать руку так, то она атрофируется, — так что это только подтверждение того, о чем его предупреждали! Изучил я внимательно дело и вижу, что, безусловно, и свидетельские показания и данные медицинских исследований против него, — виновен! Вызвал его для переговоров — странное явление: ничего нового он не сказал, а получается какое-то неопределенное впечатление, что он невиновен. Еще раз пересмотрел дело, еще раз вызвал Ш-овского, — впечатление то же. Обратил я при этом внимание, что Ш-овский на освидетельствовании в госпитале был около 2-х недель, а в местном лазарете всего 3 дня, и Ш-овский мне пояснил, что старший врач лазарета, высказавший, однако, заключение о симуляции, сказал ему так: «что же мы тебя будем свидетельствовать? — в госпитале тебя долго исследовали и вот признали же, что у тебя рука здоровая!» Это был уже большой плюс, — вместо двух, казавшихся одинаково компетентными, заключений, оставалось одно. Я попросил председательствующего возможно шире и тщательнее поставить экспертизу на суде. Действительно, в суд в качестве экспертов были вызваны лучшие врачи Москвы, — хирург и по нервным болезням. Прибыли и свидетели. Свидетель унтер-офицер повторил свои показания о проделывавшихся им над Ш-овским испытаниях, и о

том, как заставлял его поднимать винтовку и как во сне разгибал ему руку, — видно было, что он был вполне убежден, что Шовский притворяется. Спрашиваю его: «Значит, когда ты ночью пробовал Ш-овскому разгибать руку, она разгибалась?» — «Так точно!» — «Вся разгибалась? совсем выпрямлялась?» — «Никак нет, этого он не давал, разогнем немного, а он и проснется.» — «А как ты думаешь, отчего же он просыпался?» — «Не могу знать.» — А ответ был ясен сам собой: отчего же бы проснулся здоровый, молодой человек; если бы разгибали здоровую руку? — очевидно, он просыпался от боли, значит, и такое легкое, почти незаметное, разгибание причиняло ему боль, а значит, естественно, была и причина этой боли. Эксперты произвели идеально тщательную экспертизу и определили врожденное глубокое сращение сухожилий, — Ш-овский был оправдан.

Я умышленно так подробно остановился на вопросах об уклонении от службы, так как считаю, что это одно из самых болезненных явлений, одинаково тяжелых и для уклоняющихся и для армии. Корни этого явления, как я уже говорил, лежат глубоко, и питаются или упорным нежеланием служить, т.е. подчиниться общеобязательному требованию государственного характера, или темным, поддерживаемым общественной средой, нелепым страхом перед военной службой. Отсюда намечаются и способы борьбы с этим явлением. Для тех, кто уклоняется из упорного нежелания служить, наказание по суду вполне естественно и оно, быть может, подействует и на других с таким же направлением мысли. Для тех же, кто старается уйти от службы из страха перед ней, надо создать обстановку, чтобы этого страха не было; пусть с самого же начала старые солдаты приветливо встретят молодых, расскажут им, что бояться нечего, и пусть каждый старый солдат, уходя в запас, добросовестно, от души, признает своим долгом рассказать в деревнях, что уклонение бессмысленно, что служба вовсе не страшна, —

пусть каждый из них расскажет в деревне о таких печальных случаях уклонения, как случай с Дядей или с тем, кто поздно сказал о причине болезни уха и потому, погиб, — и, безусловно, такие случаи уклонения сведутся до минимума.

2) Преступления против воинской дисциплины, возможны в двух формах: в форме неподчинения приказанию начальника и в форме оскорбительного отношения к личности начальника. Характер преступлений понятен: это резкий протест против сущности воинского долга и представителей служебного порядка, и, как таковой, он знаменовал бы собою определенное, яркое стремление виновного освободить себя от требований, дисциплины, совершенно определенно выраженную преступную волю, и, конечно, наказание, и достаточно сильное, для таких случаев является совершенно естественным. Но надо сказать к чести армии, что такие случаи сравнительно очень редки, — например, почти никогда не бывает случаев неисполнения лично отданного офицером солдату приказания. В практике чаще приходится встречаться с случаями необдуманных, нелепых по существу своему, выходов; например, унтер-офицер назначает солдата на какую-нибудь работу, — и работа не трудная, и знает солдат, что этот наряд вполне законный, — и неожиданно заупрямится, а когда унтер-офицер, естественно, будет настаивать, солдат еще его и обругает. Конечно, это еще не признак решительного неподчинения воинским требованиям, и сам солдат часто не может объяснить, что с ним в этом случае сделалось, и сам пожалеет о происшедшем, — но все же и это случай принципиально недопустимый. В значительной части наличность таких печальных инцидентов объясняется тем, что, при постоянном совместном жительстве, в условиях казарменной обстановки, солдаты настолько привыкают к унтер-офицерам, что не во всякую минуту могут провести границу между ним, как товарищем, и как начальником. Суметь

разграничить эти две формы отношений не всегда легко и для унтер-офицера. Главной формой предупреждения таких печальных случаев является предвидение их и соответственное предварительное разъяснение их солдатам: нельзя ограничиваться только внушением ему его долга в виде известных формул — «ты обязан точно и беспрекословно исполнять приказания начальника, как офицера, так и унтер-офицера», «ты обязан оказывать уважение начальнику и старшему как на службе, так и вне службы», — а надо специально, заранее объяснить солдату, что и в таком частном случае, как приведенный, он, при обращении к нему унтер-офицера, сразу должен вспомнить, что тот обращается к нему как начальник, и что он, соответственно с этим, должен и определить свое поведение.

Еще печальнее случаи нарушения дисциплины в пьяном виде. Закон, как известно, не считает состояние опьянения извещающим от ответственности, но всякий знает, что в пьяном человеке особенно сильно проявляются именно резкость, грубость и неподчинение, которые, при непосредственном столкновении с начальником, и создают нарушение дисциплины. Конечно, могут быть случаи, когда и офицеру приходится столкнуться с пьяным солдатом и требовать от него прекращения какого-либо его недопустимого поведения, — и в этом случае противодействие или оскорбительное отношение солдата приходится учитывать полностью, как антидисциплинарное преступление, но, в общем правиле, такого непосредственного соприкосновения с пьяным его начальников, т. е. и офицеров и унтер-офицеров, надо решительно избегать, — это должно стать азбукой.

Большую роль в деле предупреждения преступлений против дисциплины может сыграть определенное указание, при изложении принципов дисциплины, и той кары, которая по закону полагается за ее нарушения; этим резче будет подчеркнута

важность требований дисциплины и ярче станет перед солдатом недопустимость ее нарушений. Особенно важно объяснить исключительную строгость наказания за так называемое «вооруженное сопротивление исполнению приказа начальника», — преступление, к сожалению, часто являющееся одним из последующих проявлений неподчинения буйствующего пьяного солдата. Если бы все солдаты знали ясно и твердо, как сурово карает это преступление закон, они бы сами сумели найти средство не допустить до него своего буйствующего пьяного товарища, — и сколько бы печальных последствий было этим предотвращено!

Помимо, однако, указанных мною частных мер по борьбе с нарушениями воинской дисциплины, главную роль, конечно, должно играть положительное воспитание дисциплины в чинах армии. Доказывать это, конечно, излишне, но я хочу остановить внимание на одном вопросе, мне кажется, недостаточно учитываемом. Все, что требуют от солдата, должен прежде всего безукоризненно исполнять офицер. Солдаты вообще очень приглядываются к офицерам и в разговорах между собой постоянно разбирают своих офицеров, и не только в их служебном поведении, но и в отношении их личных качеств в сфере чисто личной, даже семейной жизни, которая также не остается скрытой от солдатского глаза, — и на почве этой оценки, собственно, и создается авторитет того или другого офицера в солдатской массе. В отношении же служебного поведения офицеров солдаты особенно чутки; офицер, который требовал бы от них педантического исполнения служебного долга, например, требований устава, а за которым они могли бы заметить, что он-то сам этих требований не исполняет, безусловно потеряет в их глазах авторитет, и, наоборот, офицер, сам строго исполняющий служеб-

ные требования, тем самым сразу подчиняет себе солдат и ставит себя по отношению к ним в нормальное, отвечающее дисциплине, положение.

Для иллюстрации этого приведу один случай из моей личной практики. Между 1-м и 2-м курсом академии состоящих в академии офицеров, по роду службы не несших ранее в войсках караулов прикомандировывали к приходящим в Петербург на лето пехотным полкам для практического ознакомления с караульной службой. Я, как артиллерист, также был в таком прикомандировании. Мы даже не были прикомандированы к определенным ротам, а ходили в караул то с одной, то с другой ротой. Конечно, при таких условиях, ждать хоть какой-нибудь нашей связи с солдатами не приходилось, мы им были совершенно чужие. Раз мне пришлось идти в качестве караульного начальника с одной из рот в караул в городок огнестрельных припасов, находящийся далеко за городом. Идти от Финляндских казарм надо было верст 12-14. С первого же впечатления было заметно, что рота совсем недисциплинирована, — идут с разговорами, не в ногу, винтовки часто перекаладывают с плеча на плечо. Ясно было, конечно, что за один день караула я эту роту перевоспитать не могу, но все же я решил с этой ротой сделать опыт, насколько педантическая требовательность офицера, поддержанная собственным безукоризненным исполнением устава, может воспитывающе повлиять на солдат. Поэтому я с самого же начала стал делать им замечания, что так идти нельзя, требую прекратить разговоры и т.д., — отлично вижу, что они прямо-таки на эти замечания раздражаются, — ведь я им совсем чужой офицер, да еще артиллерист, — а все-таки своего приема не прекращаю. Обстановка в карауле оказалась очень неблагоприятной: караульное помещение ремонтировалось, оставалась только комната для караульного началь-

ника, а караул помещался шагах в 150, в палатках, в рощице. Захожу перед вечером в караульную палатку, — весь караул лежит, велел встать; через полчаса захожу, — опять лежат, опять велел встать; предупредил, что буду следить, чтобы ложилась отдыхать только та смена, которая имеет право. После зари приходит ко мне караульный унтер-офицер, спрашивает: «Как прикажете, докладывать Вам ночью об отправлении смен?» — «А ты как думаешь?» — «Не могу знать» — «Ну, а все-таки, как бы ты полагал?» — «По уставу полагается докладывать!» — «Так о чем же спрашиваешь?» Сейчас же после зари приходит в мою комнату служитель и раскладывает на кушетке простыни, одеяло и подушки. «Это зачем?» спрашиваю. — «А разве Вы не будете спать?». — «Нет, не буду». И вот так прошла ночь, я не сплю сам, унтер-офицер, приходя с докладом, всегда застаёт меня неспящим, одетым, несколько раз за ночь хожу в караульную палатку, — раза два еще находил большинство спящими, а потом уже, вижу, спят только те, кому можно. К утру солдаты стали совершенно другие, — куда девалась и распушенность и враждебность ко мне! Шли назад, и после бессонной ночи, великолепно, бодро, а при прощании так весело ответили, что можно было только радоваться. Успех был полный. А попробуй я, требуя всего от них, сам лечь, — право, я, может быть, нарвался бы и на дерзость.

3) Нарушения караульной, службы, в сущности, представляют умышленные или по небрежности отступления от требований устава, касающихся этой службы. Изучить эти требования устава каждый солдат вполне может, — спросите его, и он Вам все свои обязанности в различных случаях расскажет прекрасно. Однако, в практическом исполнении часто оказывается иначе. На первых шагах в караульной службе солдат иногда просто теряется, как будто все, что он учил, одно, а что приходится делать, — другое. Чтобы избавить солдата от таких невольных

погрешностей в этой службе, надо, при первых случаях вступления его в караул, специально на месте, на посту, тщательно испытать его со стороны, понимания именно в данном практическом случае его обязанностей; только когда он уже несколько раз побудет в карауле, знание обязанностей станет у него отчетливым и только тогда и можно с него спрашивать ответа за те или иные нарушения или отступления.

Между тем, именно когда солдат уже привыкнет к караулам, часто и начинаются, — повторяю, умышленные или по небрежности — нарушения им обязанностей по этой службе. Повод к этому дает, в некоторых случаях, соблазнительная бесконтрольность, — например, стоит солдат часовым на отдаленном посту и знает, что на этот пост только раз-два в день заедет дежурный по караулам или дежурный офицер, а если он уже проехал, скажем, при предыдущей смене, то солдат считает себя свободным, думает, что теперь никто не приедет и, следовательно, можно уже немного и ослабить свою аккуратность. Борьба с сознательным игнорированием требований караульной службы или с небрежным к ней отношением необходима: помимо того, что иногда и кажущаяся ничтожной небрежность может повлечь за собой очень тяжелые последствия, караульная служба есть главная форма служебных обязанностей, показывающая, насколько достоин доверия данный солдат в служебном отношении, т.е. хорош ли он только на глазах у начальства, или серьезен и исправен в своих обязанностях и тогда, когда остается без надзора, только лицом к лицу с своим долгом. Такую именно точку зрения надо сразу же привить солдату. Но так как, все-таки, приходится считаться с соблазном, то надо на всякий случай позаботиться о том, чтобы эта возможная небрежность или сознательное нарушение не вылились в такие формы, при которых нарушение получило бы очень серьезное значение и повлекло бы за собой очень тяжелую кару, — а для этого надо,

при обучении солдат уставу, применить особый прием. Учит, положим, офицер солдата обязанностям часового, — «часовому на посту запрещается пить, есть, спать, садиться... часовой не имеет права оставлять своего поста...» и солдат заучит этот спокойный перечень устава, но в его представлении совершенно не создается отчетливого понимания важности каждого из этих запрещений. Но пусть офицер раскроет Воинский устав о наказаниях, и тогда он увидит, что этот бесстрастный, одинаковый тон устава вовсе не является показателем одинаковой важности нарушений, и тогда он сумеет объяснить солдату, что, если, например, он на посту сядет, то за это может быть дисциплинарное взыскание, а может быть и военная тюрьма, если заснет на посту, — дисциплинарный батальон, а если уйдет, например, с поста у арестованных, у денежного ящика или у склада оружия и огнестрельных припасов, то за это и в мирное время наказание может дойти до 8 лет каторжных работ, а в военное время и до смертной казни. Сумеет это ясно и отчетливо рассказать солдатам офицер, — и может быть уверенным, что небрежный солдат на посту, может быть, еще все-таки, сядет, но едва ли уже решится заснуть и, наверное, уже с поста не сойдет. Если же офицер этого солдатам не объяснит, то значительная доля нравственной ответственности, в их серьезных нарушениях ляжет на него.

Говоря о нарушениях обязанностей караульной службы, я не могу обойти молчанием одной очень тяжелой стороны этой службы, жертвами которой иногда делаются и прекрасные солдаты, — это служба караулов на гауптвахтах и по сопровождению арестованных. Военная гауптвахта, — я об ней дальше буду говорить подробнее, — по моему глубокому убеждению, гнойная язва армии. Обитатели гауптвахты — экстракт испорченности и развращенности. Нести службу караулу на гауптвахте в

высшей степени тяжело, — со стороны содержащихся на гауптвахте караул и его чины встречают самое невозможное отношение, ибо интересы гауптвахтного населения совершенно идут в разрез с требованиями порядка, которым служит караул; караул видит безобразные картины разнузданности, часто слышит ругань по отношению к себе, всегда видит стремление арестованных вырвать себе незаконную долю поблажек, и постоянно должен быть готов к тому, что тот или иной арестованный постарается убежать. Бегать арестованные умеют ловко, и если окажется, что конвойный или караульный по простодушию, по доверчивости, чего-либо недосмотрел, — он будет отвечать, а наказания за упуск арестованных серьезные. Искренно высказал бы я пожелание, чтобы обязанность по охране и сопровождению арестованных, по крайней мере в мирное время, была бы снята с войсковых строевых частей и была бы передана в ведение специальных команд, которые бы больше специализировались на этом деле и сумели бы испорченности и наглости арестованных противопоставить твердые и внушительные приемы обращения.

Говоря о способах и формах борьбы с преступлениями в армии, я, естественно, мог бы коснуться и организации и деятельности военно-судебного аппарата, предназначенного служить делу борьбы с преступлениями путем наказания виновных, но этот вопрос и связанный с ним вопрос о системе и характере применяемых в военном ведомстве, по суду, наказаний, являются слишком специальными и могут составлять предмет лишь специальных научных трактатов, и потому вводить эти вопросы в содержание настоящих моих записок я не считаю возможным. Но я считаю вполне уместным и необходимым остановиться на другой форме применяемого в армии карательного воздействия — на дисциплинарных взысканиях, т.е. на наказаниях, налагаемых без суда, властью начальства.

По существу своему, дисциплинарное взыскание есть мера воспитательная, и поэтому я считаю, что именно в интересах воспитания ими следует пользоваться весьма осторожно. Положение нашего дисциплинарного устава, что «начальник не должен оставлять проступков и упущений подчиненных без взыскания», вряд ли можно признать выражением правильного взгляда: при буквальном толковании, — как это часто замечается на практике, — это положение устава приводит к чисто механическому применению дисциплинарных взысканий к каждому проступку или упущению. Разве такое применение взысканий есть правильная воспитательная мера? Я лично считаю, что никакой механичности в деле воспитания допущено быть не может, и механическое применение дисциплинарных взысканий совершенно лишит их всякого воспитательного значения. Я считаю, что, например, при первом проступке никогда не следует прибегать к дисциплинарному взысканию, — довольно внушения, серьезного разговора; самолюбивому человеку лучше простить первую вину, он это скорее оценит; при новом проступке и то еще часто можно обойтись без наказания или ограничиться минимальным, лишь бы оттенить в сознании виновного недопустимость такого поведения, и только уже если эти меры окажутся недостаточными, придется для последующих случаев прибегнуть к взысканию, но тогда уже надо дать почувствовать виновному, что он оказывавшегося ему доверия не заслуживает, и оттенить ему значение взыскания не как известной формальной меры, а именно как наказания.

Переходя затем к самым формам дисциплинарных взысканий, я определенно возражаю против широкого применения, в качестве этой меры, ареста. По уставу, арест, как дисциплинарное взыскание, установлен и для солдат всех категорий и для офицеров, и даже для штаб-офицеров. Для офицеров, кроме того, арест на гауптвахте до 6 месяцев может быть применен и

в качестве наказания по суду, для солдат арест устанавливается и как замена одиночного заключения в военной тюрьме. Рассмотрю вопрос об аресте отдельно в отношении солдат и в отношении офицеров.

Арест для солдат, как дисциплинарное взыскание, должен был бы рассматриваться, как средство воспитания, а между тем на все время ареста солдат выходит из сферы наблюдения своего начальства и при этом сидит в полном бездействии, на служебные занятия не ходит, нарядов не несет; если устав и допускает, для простого ареста, исполнение солдатами, «по усмотрению начальства», служебных обязанностей, то практически, — в виду, по-видимому, затруднительности перед каждым занятием освобождать солдата из-под ареста и после занятий снова препровождать его под арест, — это никогда не исполняется. Таким образом, для воспитания, для образования, для приучения солдата к служебной исправности, это время совершенно пропадает, — солдат бездельничает. Затем, самый факт арестования это, безусловно, известный позор, удар по самолюбию, и удар нездоровый, вызывающий самую нежелательную реакцию: «меня под арест? ну, что-же, ну и отсижу, не велика беда!» — и уже незаметно, с этим решением, в человеке надламывается самое дорогое, что в нем надо культивировать, — здоровое самолюбие, уважение к себе, — а потерял человек здоровое самолюбие, много тем самым разрушено для него сдерживающих преград; за первым арестом человек уже много легче будет смотреть и на второй, — страха большого перед арестом нет, а самолюбие уже страдать перестало. Затем, посмотрите, сколько унижительного в самой обстановке ареста! Первый такой момент — обыск при вступлении на гауптвахту. Посмотрите, затем, на картину, когда арестованного куда-нибудь выводят в сопровождении караульного с винтовкой! Солдата, — и, в сущности, не во многом виноватого, если он арестован только

в дисциплинарном порядке, — сопровождает с винтовкой его же товарищ солдат; посмотрите на лицо этого арестованного и вы увидите на нем или выражение стыда, или выражение озлобления, — и поверьте, что эти, как бы случайно подмеченные вами, чувства остаются, в действительности, и надолго, глубокий след в том, кто их в такой обстановке испытает. А вы думаете, что и для караульных это все проходит бесследно? Относятся ли они совершенно холодно и безразлично к тому, что им приходится запирать, караулить и выводить с винтовкой своего же товарища солдата? — ведь и в них в это время живет или чувство известной обиды за товарища, или чувство нездорового раздражения против него! Все это еще более обостряется, если арестованным является унтер-офицер. Не говоря уже о том, что должен он испытывать, когда его караулят или с винтовкой сопровождают рядовые, — нельзя же не учитывать, насколько всей этой обстановкой разрушается его служебный авторитет! Как он вернется в свою роту, к своим подчиненным солдатам, если те знают, в какой обстановке он только что содержался под арестом, а может быть, и сами в том же карауле следили за ним, как за арестованным, выводили его с винтовкой и т.д.? Ставить унтер-офицера в такое положение, это значит совершенно расшатывать его авторитет, который имеет громадное значение для его воспитательной роли в армии. Наконец, в чем же, собственно, исправительное, воспитательное значение ареста? Если арест назначается в одиночном карцере, то его еще можно рассматривать, как наказание в том смысле, что виновный отрывается от привычной ему обстановки, что он оторван от людей, что ему скучнее, что ему не с кем поболтать, посмеяться, — такое карательное воздействие, все-таки, имеет известное исправительное значение и, во всяком случае, не носит в себе ничего разлагающего, ибо не вводит арестованного в общество еще более порочных элементов, но что представляет из себя

арест в общей камере? Кроме всех прочих отрицательных сторон ареста, — именно, что солдат выходит из-под контроля начальства, на служебные занятия не ходит, ни работ, ни служебных нарядов не несет, бездельничает, — самое его пребывание в этом безделье в общей компании с другими имеет, безусловно, разлагающее влияние, ибо в массе таких бездельничающих людей представление об этом аресте, как о наказании, совершенно уничтожается, а вместе с тем встает во всей своей силе растлевающее влияние порочной среды.

Чтобы понять этот вопрос во всем его значении, надо только присмотреться внимательно к жизни и нравам общей камеры, положим, гарнизонной гауптвахты. Эта камера живет своею, уже известным образом сложившейся, жизнью. Тут есть и главари, руководители, обыкновенно из арестованных подследственных или подсудимых, есть и несколько к ним приближенных и, благодаря этому, пользующихся также известным влиянием, а вся остальная масса держит тон известного рода почтения перед ними и только несколько человек из этой массы как-то мало к ним подходят и всегда являются страдательными лицами, — их бранят, над ними смеются. Все это население камеры уже присмотрелось к порядкам гауптвахты, уже, по традиции, враждебно относится и к заведующему гауптвахтой офицеру и к караулам, а в особенности к караульным унтер-офицерам и к начальникам караулов. Послушайте вы их разговоры, — ведь это сплошное бахвальство своей разнузданностью, человек даже преувеличивает свой проступок, чтобы показаться «молодцом» и, чем хлеще, циничнее, он про него расскажет, тем больше он услышит одобрения, и этим удовлетворяется его «самолюбие», и он даже имеет шансы выдвинуться на положение «приближенных». Вот и представьте себе теперь положение скромного, в общем хорошего, солдата, который за ка-

кую-нибудь, скажем, служебную неисправность, — хотя бы, положим, и по суду, в виде замены военной тюрьмы, — попадает в такую камеру. Его встретят, как нового, — все-таки, «с воли!» Спросит ли его кто-нибудь: «что же это ты, брат, так промахнулся? разве ты не знал, что этого не надо было делать?» — Поверьте, так никто не спросит, а если он искренно расскажет, в чем провинился, он услышит: «Э, брат, это что! — вот я...! а чего на них смотреть? ну их к черту всех!» и в таком смысле пойдут и дальнейшие разговоры, — и скажите сами, — что может быть исправительного в таком заключении? Для иллюстрации, что дает из себя гауптвахтная среда, приведу два случая.

В 1903 году, будучи защитником в выездной сессии суда в Орле, я должен был защищать солдата Ще-кова, обвинявшегося в третьей краже, — у него было найдено шесть или семь краденых часов. Он содержался на Орловской городской гауптвахте. Я переговорил с ним перед судом, — впечатление он производил обыкновенного мелкого воришки, — и я посоветовал ему признаться в краже. Началось судебное заседание, он с конвойными стоит около моего стола. Только что председатель стал его спрашивать об имени, фамилии и т.д., происходит необычная сцена: Ще-ков падает на колени, из глаз льются слезы, он бьет себя в грудь, вопит: «Ваше Превосходительство, казните меня, накажите меня, я вор, я мошенник, казните меня!» Я совершенно вышел из себя: какое нахальное притворство! да еще, пожалуй, подумают, что это я, защитник, подучил его разыграть такую безобразную сцену! — «Встань сейчас», говорю ему, «как тебе не стыдно!» — но он не унимается и, к удивлению своему, замечаю, что председательствующий верит в искренность такого покаяния. На следующий день я пришел на гауптвахту, — Ще-ков встречает меня довольный; я начинаю упрекать его за безобразную сцену, а он мне цинично отвечает: «А что же, Ваше Высокоблагородие, все-таки, я думаю, это помогло», — и тут же

еще снахальничал: «Ваше Высокоблагородие, а вот там при деле есть седьмые часы, про них ничего в деле не сказано, у кого я их украл, — так стало быть, они мои, нельзя ли их мне получить обратно?» — а часы были, как все ворованные, с отвернутым колечком. Вот пример гауптвахтного обитателя, и если не гауптвахта так его воспитала, так как он и до службы был воришка и очевидный нахал, то хорошее же влияние он окажет на других заключенных!

Другой пример, пожалуй, еще интереснее. Я уже был в 1904 году в том же Орле исполняющим должность следователя и мне пришлось производить следствие о рядовом А-еве, по ремеслу — булочник из Москвы. Как раз в страстную пятницу прихожу на гауптвахту для допросов. Вызываю обвиняемого, — говорит как сумасшедший, придется, значит, устанавливать, действительно ли душевно-больной, или симулянт. Отпустил его, вызываю свидетеля: «Вам угодно меня видеть? Очень рад, к Вашим услугам! Не правда-ли, хорошая гостиница! Вы довольны?» — Ясно, симулирует сумасшествие. Вызываю третьего, — тоже сумасшедший, четвертый — тоже. Несомненно, сговор, подучил их кто-то. Конечно, я прервал следствие и через несколько часов вся эта милая компания должна была расстаться друг с другом, — их, по моему настоянию, перевели в отдельные камеры губернской тюрьмы. Три дня я к ним не заходил, на третий день праздника зашел, — все уже здоровы, только, видимо, А-еву не хотелось расставаться с своей ролью. Так как я уже после первого его допроса пригласил врача-эксперта для его освидетельствования, я решил это освидетельствование довести до конца. Одним из главных приемов следователя при таком исследовании, — как мне настойчиво указывал П.И.Якобий, — является самая детальная запись того, что говорит свидетельствуемый о своей болезни, — уже по этому описанию можно безошибочно судить, больной ли перед вами, или

симулянт. Я имел терпение так и провести его допрос. Чего он только не говорил! Ясно было видно, что он старается показать себя таким, каким вообще представляет себе сумасшедшего; дошел, конечно, и до чертей. «И чертей видишь?». — «Вижу!» — «Какие же, большие?» — «И большие и маленькие» — «Черные?» — «И черные и белые» — и все это я записываю, а он, вижу, уже доволен, — вот, дескать, как хорошо, всему верит следователь. В тот же день была произведена и судебно-медицинская экспертиза: врач-эксперт, младший полковой врач, которому я показал весь свой протокол допроса, к удивлению моему, по освидетельствовании, дал заключение, что это, несомненно, душевно больной. Я попросил врача обосновать свое заключение подробно, и тогда стало ясно, что врач совсем не компетентен и запутался в противоречиях. Я, безусловно видя, что обвиняемый симулянт, решил игнорировать данное заключение врача и дать делу нормальный ход, составил мотивированное постановление и стал предъявлять следствие обвиняемому. Когда я дошел до заключения врача, — надо было видеть удовольствие на лице обвиняемого! Но когда я ему объявил свое постановление, что не считаю его душевнобольным и даю направление делу в обычном порядке, лицо его выразило полное недоумение. «А как же», говорит, «доктор признал, что я душевнобольной?» — Я ему рассказал, почему считаю его симулянтом, и после этого он меня спросил: «Ваше Высокоблагородие, а что мне за все это будет?» — «Да года 2-3 дисциплинарного батальона», ответил я. — «Покорно благодарю!» — и выздоровел. Вся эта история — типичное порождение гауптвахты. Определенно и убежденно говорю, что общее заключение на гауптвахтах оказывает такое растлевающее действие, что его не только нельзя считать за воспитательное средство, а приходится признать, как одно из самых разлагающих явлений в военном быту.

Отвергая, таким образом, желательность применения к солдатам ареста, как дисциплинарного взыскания, я, естественно, ожидаю вопрос: «а чем же его можно заменить?» Ответу определено: остальными мерами, предусматриваемыми нашим дисциплинарным уставом: воспрещением отлучки со двора, назначением не в очередь в наряд на службу или на работы, лишением ефрейторского или унтер-офицерского звания, смещением на низшие степени или должности. Каждая из этих мер ясна по своему значению. Конечно, назначение не в очередь в наряд на службу не должно быть наказанием, назначаемым за какой угодно проступок, — служебный наряд не должен являться наказанием, а может быть применен лишь, как мера воспитательная за неисправное исполнение нарядов: за неисправное дневальство — лишнее дневальство, за неисправное исполнение караульной службы — лишний караул; за неисправности общего характера, лень, уклонение, — лишние наряды на работы. Мне, может быть, затем возразят, что такие дисциплинарные меры, как лишение унтер-офицерского звания или смещение на низшие должности, также имеют характер удара по самолюбию? — Несомненно, но это удар иного рода, чем арест, это не удар по личному достоинству, а указание на несоответствие виновного, по его поведению, его служебному положению, и всякий понижаемый так и поймет, что его понизили или лишили унтер-офицерского звания в виду невозможности, после его проступка, оставить в прежнем положении начальствующего или поставленного к ответственной должности.

Переходя теперь к вопросу о допустимости или недопустимости наказания арестом на гауптвахте для офицеров, я прежде всего укажу на нецелесообразность отрывать офицера, нужного для службы, от служебного дела и переводить его на безделье. Но есть, конечно, и еще более серьезные возражения против

ареста офицеров на гауптвахте. Арест, как удар по самолюбию, если чувствителен для солдат, то должен быть бесконечно более тяжелым для офицера, который должен быть именно носителем незапятнанного офицерского достоинства. Я лично, вступая в армию офицером, определенно решил, что, если бы мне когда-либо случилось попасть под арест, я немедленно ушел бы со службы. Офицер должен быть авторитетом для солдат, — с какими же глазами он явится перед солдатами после ареста? А самая обстановка ареста? — у офицера отбирается оружие и ставится под знаменами или у начальника части; цели такого демонстративного отобрания и выставления оружия я никогда не понимал, — ведь можно же было бы просто оставить оружие на квартире; офицер помещается на гауптвахте под надзором солдат, — и разве это не повод, чтобы солдаты, между собой, над ним смеялись? При длительном содержании офицеру разрешается выходить на воздух, — но куда? — на платформу перед гауптвахтой! — и все мы видали, как на этой платформе, где стоит часовой и часто сидят свободные караульные, сидит на вынесенном стуле офицер, а то и два-три; а ведь гауптвахта обыкновенно находится на одном из самых людных мест города, и вся проходящая публика любуется такой картиной! Прямо даже вспоминать неприятно, а учтите Вы все вредные последствия от этого для авторитета офицера и, думаю, вполне согласитесь, что такая форма ареста и унижительна для офицера и крайне вредна для интересов должных служебных отношений в армии между офицерами и солдатами. А ведь мы знаем, что иногда отдельные офицеры и по несколько раз сидят на гауптвахтах, и мы видали, что некоторые из них даже с известной развязностью выходят на такую прогулку на глаза широкой публике, — и страшно становится, и хочется спросить: «да сохранили ли эти офицеры офицерское достоинство?» Поэтому я ре-

шительно и без обиняков говорю, что арест офицера на гауптвахте ни в виде дисциплинарного наказания, ни в виде наказания по суду, абсолютно, совершенно недопустим. Таким образом, по моему мнению, и в отношении офицеров могут быть применены в качестве дисциплинарных взысканий только те меры, которые не сопряжены с арестом, т.е. выговор, неодобрение к производству на вакансии или за выслугу лет, удаление от должности или командования частью. Заключение офицера, в виде наказания, под стражу, даже и по суду, по моему мнению, возможно только одновременно с лишением офицерского звания, или, по крайней мере, с исключением из действительной службы.

Но, при таком отрицательном моем отношении к аресту офицеров и солдат, естественно, могут возникнуть вопросы: как же быть в том, например, случае, если солдат буйствует? как же поступить в том случае, если на офицера или солдата возникло обвинение в тяжелом преступлении и немедленное заключение его под стражу является необходимой мерой воспрепятствовать ему уклониться от следствия и суда? — На это отвечаю: буйствующего солдата можно посадить в карцер, но это не есть мера наказания, а лишь мера временного физического умирения, и на самолюбие она не подействует унижающе, и сам солдат на нее посмотрит как на меру необходимую в интересах общего порядка, — но, пройдет буйство, — и его дальше задерживать в карцере не надо, а за проступок надо применить другое взыскание. Затем, я вполне допускаю возможность ареста как экстренной решительной меры для прекращения какого-либо резкого эксцесса, для ликвидации какого-либо назревающего преступного выступления, с целью немедленной изоляции агитаторов и т.д. Что же касается ареста, как иногда необходимой меры воспрепятствовать обвиняемому скрыться от судебного преследования, то отрицать допустимость этой

меры и в отношении солдат и в отношении офицеров нельзя, но, во-первых, к ней надо прибегать только в самых необходимых случаях, а во-вторых, арест в таком случае должен быть одиночный или, во всяком случае, с самым тщательным подбором сожителя по камере, и притом в специальных местах заключения, устроенных и охраняемых так, чтобы они не содержали в себе отрицательных черт гауптвахты; если даже окажется, что выдержавший такое предварительное заключение будет признан по суду невиновным, то все же он явится в часть не опороченным самой обстановкой заключения, а оправдательный судебный приговор снимет с него подозрение в отсутствии чести и достоинства.

Заканчивая этим свои наблюдения и мысли о жизни армии в мирное время и о возможных мерах борьбы с отрицательными явлениями этой жизни, повторяю, что умелыми комбинированными действиями в сфере общего и воинского воспитания, в сфере возможного предупреждения преступлений и в области наказаний виновных можно достичь значительного понижения преступности, и это не только благоприятно отозвалось бы на самом достоинстве армии и очень многих спасло бы от тяжелых, связанных с преступлениями, последствий, но имело бы и в дальнейшем громадное значение в виду той роли, которую играет армия в общем деле народного воспитания. Если при прохождении через ряды армии 1/3 части всего мужского населения России в возрасте, являющемся переходным к полной духовной зрелости, армия людям, еще духовно несформировавшимся, даст правильные основы общегражданского воспитания, привьет им здоровые государственные, национальные и общественные принципы, людей колеблющихся, неустойчивых, рациональным воспитанием и надзором удержит от скользких, затягивающих путей порока, а людей уже пошат-

нувшихся поставит, путем целесообразно примененного карательного воздействия, на путь достойной, честной жизни, — то армия, хранительница чести и достоинства государства, станет и великим фактором его внутреннего культурного строительства.

В заключение не могу не поделиться одним из своих очень ярких впечатлений, относящихся к тому же периоду, — именно впечатлением и данными, полученными при неоднократном моем посещении одного исключительно интересного по своей организации учреждения, — Орловской земской психиатрической больницы, так называемой «Кишкинки». Конечно, посещение этой больницы не только представляло для меня интерес по яркости совершенно своеобразных, проходящих там перед глазами картин жизни этого особого мира, но, главным образом, определялось желанием близко и серьезно познакомиться с различными формами душевных болезней в их непосредственном, наиболее ярком проявлении. Юрист-практик должен знать и понимать всю жизнь, должен знать и понимать всего человека, от высоких идейных движений человеческого духа до самых глубоких изломов преступной мысли, от нормально-развитых чувствований здорового человека до уродливо-извращенной психики душевнобольного. Знакомство с основными формами душевных болезней всегда необходимо юристу в его практике, и, конечно, даже самый лучший учебник судебной психопатологии, при массе своего научного материала, не исключает ценности и необходимости непосредственного ознакомления с душевными болезнями в их жизненном индивидуальном проявлении. Посещения «Кишкинки» дали мне в этом отношении, — благодаря исключительной любезности ее директора П.И. Якобия, и его сотрудников-врачей, — незаменимый материал. Глубоко благодарен им за те широкие научные и практические

указания и разъяснения, которые они мне дали в этой исключительно интересной и серьезной области.

«Кишкинка» — имение, подаренное орловским помещиком Кишкиным Орловскому земству для устройства психиатрической больницы. Находится оно в 9 верстах от Орла. На пространстве 86 десятин построено 15-20 двухэтажных и одноэтажных домов, разбросанных в перелесках, на полянах, среди огородов. Никакой особой ограды «Кишкинка» не имеет, владения ее соприкасаются с окружающими деревнями и имениями. На всем этом пространстве живут на полной свободе душевнобольные. В моменты, когда мне случалось там бывать, их было по 380-400 человек. Больные в двухэтажных домах размещены по 25 человек в большой комнате каждого этажа, и на каждую такую комнату только по одной надзирательнице, — дама или барышня, имеющая тут же комнату. Эти надзирательницы — истинно самоотверженные женщины, отдавшие себя великому делу помощи душевнобольным, — день изо дня, годами, живут они в этом страшном мире, часто в опасности и всегда с ровным, спокойным и ласковым отношением к больным, — на них и держится весь режим этого учреждения; мужская прислуга только для более трудных физических работ. Лечение больных — только лаской и вниманием; иногда только для успокоения буйствующих теплая ванна; за малейшее насилие над больным виновные из прислуги немедленно увольняются. Привезли в больницу душевнобольную из деревни, — привязана к телеге, руки связаны назад. Доктор Якобий велел ее немедленно развязать, — привезшие не соглашались, эта женщина кусается; наконец, по его требованию, ее развязывают; она бросается на Др. Якобия, впивается зубами ему в руку около плеча, а сама исподлобья смотрит ему в лицо и все больше и больше стискивает зубы; он только гладит ее по голове, говорит ласково; она по-

степенно успокаивается; потом уже, выздоравливая, она помнит этот момент и говорила, что именно тогда она чувствовала, что ей становится легче. Вся система лечения основана на том, что больные совершенно не знают, ни того, что это больница для душевнобольных, ни того, что он сам душевнобольной, — каждый из них думает, что он болен какой-либо внутренней болезнью, — болезнью сердца, печени, — но что среди других больных есть и душевнобольные, которые требуют к себе особого внимания, которым нужно помогать, и каждый больной приучается, как нужно с такими больными обращаться. Вы видите, как бьется в припадке эпилептик, а за ним внимательно и умело ухаживают другие душевнобольные. Человек непосвященный сразу может и не заметить, что он находится среди душевнобольных, разве только сразу попадет на такую картину: мужик лет 35-ти с особым усердием делает гимнастику, приседает, прыгает и все твердит: «Аполит (его имя Ипполит), надел аполет, митрополит». В действительности же Вы совершенно окружены там душевнобольными, даже у доктора Якобия кучер, с которым он ездит и в город, сумасшедший, убийца, кухарка — сумасшедшая, горничная — сумасшедшая, убийца. Бывали, конечно, и оригинальные моменты. Входим мы, например, в одну из общих комнат: внимание всех устремлено на нас, и видим, что из дальнего угла комнаты на нас несется с кулаками громадный детина, брюнет, лет 35-37, с широкой красивой бородой, бледный, несется без звука; в таких случаях лучше всего поразить неожиданностью: я оказался к нему ближе всех и, как только он подбежал, я протянул ему руку и сказал: «здравствуй»; он совершенно опешил, подал мне руку, пожал, ничего не сказал; кончилось благополучно, но могло быть и иначе; только что мы вышли, слышим нам вслед исступленный крик: «душегубы, кровопийцы, душегубины, за что человека держите?» — и тот же самый детина с искаженным от злобы лицом

глядит нам вслед в окно, а другие его держат. Зашли мы тогда же в столярную мастерскую: маленькая комната, посредине станки, там работает человека четыре; один из них жизнерадостный, приветливый, рыженький мужичок радостно нас встречает, бегаёт от одного к другому вокруг станков «по-солнышку, по-солнышку», жмет нам руки, а другой, видим, с весьма неприветливым видом, взял топор и остановился у выходной двери, глаза острые, злые, — а дверь одна; надо выходить, а показать, что его опасаемся, нельзя, — осторожно, один за другим, вышли; потом, отчасти, это стало понятно, — больных всегда раздражают яркие цвета, а при этом посещении мы втроем, кроме доктора, были в белых кителях.

Женские отделения производят более тяжелое впечатление, — там все больше слышатся жалобы, — «держат здесь, мышьяком кормят, все зубы вывалились, — скажите там, ради Бога, губернатору, чтоб велел меня выпустить», — но есть и интересные разговоры, сколько и каких знатных они имели женихов.

Очень интересное явление представлял некто Ад-ич, бывший старший нотариус окружного суда. Жил он в отдельном флигеле из двух комнат, с прислугой, около дома разделанный им самим прекрасный цветничок, — родные присылают большие средства на его содержание. Пригласил он нас к себе, угостил кофе, предложил сигары, в разговоре очень приветлив; «23 года сию в этом доме безумия!» говорит он, но по разговору его вы не сразу угадаете, что это душевнобольной; только когда он перешел на свой любимый евангельский текст: «первые да будут последними, а последние да будут первыми!» — можно было видеть характерные изломы его мысли. Он прекрасно знает Евангелие, цитирует целыми страницами; говорили, что, когда его однажды посетил Л.Н.Толстой, Ад-ич несколько раз побеждал его в знании евангельских текстов. Очень интересно то, что

Ад-ич за 2-3 года перед тем, по собственной инициативе, образовал кассу помощи выходящим из больницы душевно-больным, в этой кассе приняли участие врачи и некоторые родственники больных, сам вел всю отчетность по этой кассе и уже за то время некоторым, вышедшим из больницы помощь была оказана.

Особенно сильное впечатление оставила комната, в которую были помещены лишь недавно прибывшие душевнобольные, находившиеся под специальным наблюдением. Меня одного туда провел молодой врач. Началось с курьеза. Только что мы вошли, к нам подошел мужчина лет 32, крепкий, здоровый: «Позвольте представиться, такой-то, дорожный мастер! Ваше имя и отчество?» Я сказал. Он меня взял под руку и повел по комнате. «Господа, позвольте представить, — такой-то (называет меня)». На обитателей комнаты это произвело самое разнообразное впечатление: один моментально бросился в угол между стеной и кроватью, съежился, старается скрыться, втягивая голову в плечи, закрывая ее руками, другой, — мальчик лет 20-22, — сползает с кровати на пол на колена, он весь расслабленный, и с блаженным лицом пытается схватить меня за руку, показывая выражением губ и рук, что хочет целовать руки и ноги; третий гордо, с сознанием своего величия, смотрит на нас. Долго старался доктор освободить меня от приветливого дорожного мастера, наконец, как-то удалось. Но скоро доктор мне шепнул: «Смотрите на того, который лежит в углу, и скорее выходите!» Я взглянул: на кровати, в углу, лежит, закрывшись туго одеялом до подбородка, мужчина лет 30-32, блондин, с бледным веснушчатым лицом, ничего особенного лицо не представляет. Только что мы вышли за дверь, вслед нам в дверь полетел табурет, брошенный, очевидно, с страшной силой и очень метко; доктор объяснил мне, что это бросил именно тот,

который так тихо лежал в углу; его с большим вниманием изучают доктора и, в сущности, еще не определили характер болезни; он лежит спокойно целыми днями и пока проявил только одну особенность, — как только начнет мигать, немедленно затем следует какая-нибудь буйная выходка, и после этого он опять моментально успокаивается и переходит в свое безразличное состояние; доктор оттого и вывел меня, что заметил, что тот начал мигать.

Многому можно научиться в этом мире ужаса и страдания.

II

С началом Русско-Японской войны, в первых числах февраля 1904 года, я был назначен для исполнения обязанностей военного следователя в Орловский участок, на замену бывшего там штатного военного следователя, командированного на Дальний Восток. В участок включались Орловская и Тульская губернии и таким образом в мою обязанность входило производство предварительных следствий по всем делам, подсудным военно-окружному суду, во всех частях войск и учреждениях, расположенных в пределах этих двух губерний. Обязанности следователя приводят его в ближайшее непосредственное соприкосновение с преступлением, с обвиняемым и со свидетелями, — гораздо более близкое, чем это доступно другим судебным органам в другие моменты судебного процесса, — и эта близость подхода к делу дает самые яркие, самые живые впечатления.

В пределах участка были расположены, главным образом, части 3-й и 36-й пехотных дивизий. 3-я дивизия была скоро мобилизована и перемещена, а части 36-й пехотной дивизии долго еще оставались в участке. По всем признакам мобилизация этой дивизии, как и всего 13-го армейского корпуса, в состав которого она входила, в начале совсем не предполагалась: из частей этой дивизии постепенно командировались на Дальний Восток отдельные офицеры и унтер-офицеры, отдельные команды, и состав полков ослабевал. Иногда бывали такие характерные требования: послать столько-то лучших офицеров и унтер-офицеров под личным ручательством командира полка, с тем, что, если кто-либо из них окажется несоответствующим, то будет возвращен за счет командира полка. Требования, естественно, исполнялись и штатный состав полков все редел и редел, — уже к осени 1904 года в некоторых из них оставалось

только по 20 офицеров и по 750 солдат, а параллельно с этим создавались запасные батальоны и второочередные дивизии и почти исключительно из чинов запаса, с призванными из запаса офицерами. Создавалось смутное впечатление какой-то непоследовательности организации. Бывали и отдельные случаи, заставлявшие задумываться над каким-то странным характером распоряжений. Например, двум полкам, расположенным в Орле, было предписано назначить для отправки в Маньчжурию по одному ротному командиру и по два младших офицера, или по желанию, или по жребию; в одном из полков выразил желание идти один ротный командир и вслед за ним выразили также желание идти и два его младших офицера, с тем, чтобы именно вместе с ним служить в новой части; в другом полку желающих не вызвалось и ротный командир и два младших офицера были назначены по жребию, от разных рот; совершенно неожиданно из Штаба Корпуса или из Штаба Округа пришло распоряжение, чтобы в одну часть вместе с ротным командиром первого полка назначить младших офицеров второго полка, а в другую к ротному командиру второго полка — офицеров первого полка. Был и другой случай: в одном из запасных батальонов встречаю младшего врача, который очень огорчен своим назначением: он специалист-хирург и просился, по своей специальности, в хирургический госпиталь в Маньчжурию и особенно просил не назначать его в полк, так как он страдает сильнейшим ревматизмом и лагерная жизнь ему совершенно не па здоровью, — а его как раз и назначили врачом в запасный батальон в Тулу. Были, впрочем, и курьезы: призванный из запаса ветеринарный врач, назначенный врачом какого-то отделения конского запаса, с ужасом разводил руками, что он будет делать на этой ответственной должности, — он и забыл, что когда-то, лет 20 тому назад, он получил образование ветеринарного врача, с тех пор он и не прикасался к этому делу и теперь

он, собственно, только специалист по разведению махровых роз.

Прошло так три-четыре месяца, и прежде смутно чувствовавшаяся тревога о какой-то ненормальности в организации стала подтверждаться печальными фактами. Формирование запасных батальонов шло с большими трениями: прибывают запасные, а для них нет помещения, или нет обмундирования, или нет нар, где бы их положить; приходят запасные не те, которые значатся в списках; в батальоне 1000 запасных, в каждой роте по 250, а на роту только, два офицера, прапорщика запаса, и ротный командир из возвратившихся раненых, часто еще совершенно больной. Во второочередных частях несколько лучше, но и то сразу видно явное несоответствие кадрового состава с пополнением из запаса. Солдаты в большинстве случаев сидят без дела, ходят по улицам. Винтовок для обучения не хватает, — обучают рассыпному строю без ружей. Приемы обучения что-то странные: иду раз вечером по городу, около 12 часов ночи, слышу, на соборной площади музыка; заинтересовался, вижу, — кругом площади, под музыку, ходят в колонне по отделениям, несколько рот запасных; что это такое? — «Обучаются ночным движениям» — ответили мне. Яснее и яснее становилось убеждение: — не будет ничего хорошего при такой системе формирования, — и убеждение это все чаще и чаще подтверждалось фактами: дисциплины в войсках почти уже не существовало, — об этом свидетельствовал и весь внешний вид солдат, — распорядителем в войсковых частях являлась масса, кадровый состав почти совершенно потонул в ней; заметно участились преступления. Но далее случилось событие прямо невероятное: стали мобилизовать для отправки на Дальний Восток части 36-й пехотной дивизии. На совершенно обесиленный кадровый состав каждого полка (по 750 человек) прислали по 3700 запасных

из Москвы, причем в этом составе запасных оказался весь Московский «Хитров рынок», т.е. московские босяки. Подумайте: из 3700 запасных в полку по 1500 «хитровцев»! Почти у всех у них, — выражаясь словами барона («На дне»), — «организм был отравлен алкоголем». Картина превзошла все ожидания, надо было видеть ее, рассказать почти невозможно. Ничего подобного никому не могло войти в голову в мирное время. Для меня лично это сказалось необходимостью громадного напряжения: за год я, совершая при этом все переезды по железной дороге по ночам, в месте нахождения своей камеры, в Орле, пробыл урывками, в общей сложности, менее трех месяцев, а работа на местах производства следствий была с самого раннего утра и до поздней ночи.

Перед нами прошел ряд таких картин: приходит партия запасных, их одевают, а на утро большинство из них уже в одном белье и босиком, все продали и пропили. Одного обитателя Хитрова рынка, бывшего офицера, который сумел довольно симпатично представиться в полк, к утру нашли совершенно пьяным в компании таких же безнадежно пьяных солдат, и тоже почти что в костюме Адама; его снова одели, — через несколько часов та же картина, и так несколько раз. Уже не такому ли офицеру поручить воспитание запасных? Раз целая рота заявила, что она хочет ехать в отпуск; ротный командир, старый офицер, решительно заявил, что он ни за что их не пустит, велел запереть ворота и сказал, что они могут уйти «только через его труп», — но они просто выломали ворота и все ушли. Командир корпуса решил сделать смотр, — обходит ряды, здоровается, а ему солдаты показывают языки; «дурачье!» — говорит он, а они гогочут. Спрашивает командир корпуса одного солдата, чем он занимался до призыва, — «я стрелок» (т.е. карманный вор), — отвечает тот, «а могу и со взломом.» Пригрозил им кто-то из началь-

ства, что их всех пошлют в арестантские отделения, — «покорнейше просим, Ваше Превосходительство, по крайней мере на войну не пойдем!» Пришлось мне раз выехать в лагерь под Орлом, верстах в 10-ти, для производства следствия об одном призванном из запаса прапорщике, который обвинялся в целом, ряде таких преступлений, которые обыкновенно совершает напившийся грубый солдат, т.е. в пьянстве, буйстве, оскорблении дневального и т.д. Это было в начале августа 1905 года. Выехать я мог только часам к 6-ти вечера. Поехал на извозчике, который и должен был меня там ждать. Приезжаю и вижу какое-то необычайное оживление, — оказывается, в этот день один батальон этого полка выступает на Дальний Восток. Кое-как устроившись в этой суете производить допросы, я через несколько времени услышал, — не подумайте, что шум или крики, — нет, настоящий рев, как ревет зверинец. Вышел и вижу: уходящий батальон жжет лагерь, обливают, деревья и палатки керосином и поджигают, и ревет, все кругом невообразимо. Допросив, кого нужно, часов в 10 вечера собираюсь уезжать; подъезжает мой извозчик, хочу садиться в пролетку, а с другой стороны в пролетку лезет какая-то фигура, ее оттаскивают, с трудом отрывают, а вместо нее лезет другая. Наконец, сажусь и еду, но ехать можно только шагом, — вся дорога усеяна пьяными и около меня постоянно появляются фигуры всклокоченных, растерзанных, совершенно диких людей. И около 1 часа ночи такой батальон должен был выступить на Дальний Восток на войну!

Был такой случай: в Брянске солдат днем бросился с кулаками на проходившего с дамой офицера, так что офицер должен был отбиваться от него шашкой. Вызываю обвиняемого. Оказывается, он сын богатого московского купца, но хитровец, пьет запоем; в Москве летом торгует фруктами, а зимой, когда не пьян, устраивается на какую придется работу. Одет он в модный

костюм того времени, т.е. в одном белье и в опорках. Спрашиваю, признает ли он себя виновным. «Так точно», отвечает, «если люди говорят, что так было, так, значит, было, только я ничего не помню, совершенно был пьян!» Вызываю свидетелей, — большинство в таком же одеянии, все его же приятели, — и все факт подтверждают, ничуть не стараются его скрыть или как-нибудь смягчить. Но особенно понравился мне один свидетель: он уже и не говорит, а только сипит, голос совершенно пропил. Рассказывает он факт так: «Стоим мы все у ворот казармы, и О-в (обвиняемый) с нами, ну, конечно, все пьяные. Видим, идет офицер с барышней. Кто-то и сказал: «тише вы, ребята, офицер идет!» Ну, а С-в, конечно, говорит: «а, офицер, пусти, я ему морду побью!» и бросился на него». «Почему-же», я спрашиваю, «конечно?» — «Ну, а как-же», отвечает, «разве можно было пьяному говорить, что офицер идет!» — И такой случай был не единственный.

Печальны были картины в армии, но не менее печально было то, что и все население городов, где были эти рыцари Хитрова рынка, прямо стонало от их бесчинств и преступлений. Перед отправкой главной части эшелонов в Маньчжурию настроение у всех было резко возбужденное, и я до сих пор помню дату, 23 августа 1905 г., когда прошел последний эшелон. Перед проходом эшелонов железнодорожные служащие с лихорадочной поспешностью прятали всю бегающую около станции живность и вообще все, что могло попасться на глаза, — но не спасли, к последнему эшелону, говорят, на целом ряде станций не осталось уже ни одного петуха, ни одного поросенка. Но надо было видеть лица ехавших в эшелонах солдат, чтобы понять, что внесут они с собою в военную обстановку, требующую от солдата ясной воли, сознания долга и готовности к жертве!

Естественно, преступлений за этот период было в неизмеримое число раз больше, чем в мирное время, и самое трудное

было то, что расследование преступлений в этом сплошном хаосе было до крайности отягчено, и часто приходилось, по полной безнадежности, отказываться от мысли найти виновных, если только виновного не открывала какая-нибудь счастливая для дела случайность. Был такой случай: получаю в Орле телеграмму из Брянска, что при отправлении эшелона запасных из одного вагона на станции Брянск был брошен камень в капитана П-ва, а на следующей станции полено в прапорщика такого-то. В телеграмме, по обыкновению, стоит: «прошу прибыть для производства следствия», а затем добавлено: «эшелон отбыл в Маньчжурию». Еду, конечно, но думаю, что едва ли добьюсь толку. Приезжаю и узнаю, что почему-то из этого эшелона решили задержать двух солдат, Па-това и Ш-о, но и их уже отправили на гауптвахту в Смоленск, т.е. вне пределов моего участка; почему именно их оставили, так я и не мог добиться, но, очевидно, какое-то подозрение у кого-то было на них. Допрашиваю капитана П-ва и прапорщика, — они ничего определенного ни на кого указать не могут, да и естественно, ибо эшелон уходил ночью, солдаты безобразничали, потушили фонари, в вагоне было солдат 30, — что же тут можно найти? Начинаю искать хоть каких-нибудь более определенных данных и, по счастью, узнаю, что есть один солдат, который был сначала в этом же эшелоне, и как раз в вагоне, где были Па-тов и Ш-о, и затем с пути, как заболевший, был возвращен обратно. Пришел этот солдат, славный такой, молодой, с открытым лицом. Допрашивал я его очень долго, заставляя припомнить все, что может. Как он добросовестно старался все припомнить, но все было мало полезное, — и вдруг является целое открытие: вспоминает он, что Па-тов, когда потушили свет, протискивался к двери вагона и потом сказал: «портному дал!», и сам рассмеялся, и все солдаты захохотали. Я ухватился за эту фразу, было ясно, что «портной» — это какое-то прозвище, и я уже без труда

установил, что этим прозвищем звали капитана П-ва, так как он в полку был заведующим швальней. Нить была в руках, — по всей вероятности именно Па-тов бросил в капитана П-ва камень. Тогда я решил возможно подробнее допросить всех солдат, бывших в вагоне, в котором были Па-тов и Ш-о, и с этой целью дал особое поручение военному следователю в Маньчжурю допросить всех их под присягой, сообщив ему, конечно, все имевшиеся у меня сведения. Допрос был произведен очень тщательно и определенно; выяснил, что камень в капитана П-ва и полено в прапорщика бросил Па-тов, а Ш-о только ругал их обоих безобразными словами. Конечно, рассчитывать на такой успех следствия не было никакой возможности.

Был случай такого рода: ночью в Ельце полицейский патруль захватил одного солдата, в тот момент, когда он с улицы, через окошко подвального этажа, пытался проникнуть в охраняемый караулом склад. Решетка окна оказалась сломанной. Это было помещение штаб-квартиры ушедшего на войну драгунского полка, — двухэтажный дом с подвалом, — заполненное оставленным при выступлении имуществом полка, офицеров и офицерского собрания. Когда, после этого задержания, военное начальство произвело осмотр этого склада, обнаружилось, что там покрадено почти все, что было сколько-нибудь ценного. Прибыл я для производства следствия. Путем осмотра я установил такую картину: было не менее 10 направлений, по которым совершали свой обход воры, — на это указывали сломанные и сбитые засовы и замки, отогнутые гвозди на открывающихся в ту или другую сторону дверях; один ход был по всему помещению через выходящее на улицу окно подвального этажа, другой — через такое же окно со двора, третий — через входную дверь, четвертый — через заднюю дверь и т.д. Ясно было, что разворовать склад ходили много и много раз, работали не спеша, даже с комфортом, — например, туалетное круглое зеркало

было аккуратно вынута из подставки и тут же на столике лежал огарок и два окурка папирос, — и ясно было, что все это было проделано не только при небрежности, но и при согласии и даже при участии целого ряда охранявших то помещение караулов, в течение нескольких месяцев, а может быть и года. Конечно, из всех, кого я спрашивал, никто ничего не знал. Пересмотрел я постовые ведомости караулов, выбрал фамилии караульных, — их было больше тысячи — и оказалось, что, кроме состава последних 7-8 караулов, все эти караульные отбыли, по частям на Дальний Восток. Какая могла быть надежда узнать от них что-нибудь ценное? Впоследствии, впрочем, пришло ко мне указание на одного виновного, но поздно, — лишь после того, как он сгорел при пожаре казарм в ночь под Рождество 1905 года.

Этот пожар казарм также является одним из характерных дел того времени, в которых, по общему хаосу, ничего нельзя было открыть. Около 12 ч. ночи 25 декабря 1905 г. получаю телеграмму из Ельца: «сгорели казармы с человеческими жертвами». Утром 26-го декабря был я уже в Ельце и застал еще дымящееся пожарище. Это были трехэтажные казармы, того же ушедшего на войну драгунского полка, — теперь от них остались только стены и некоторые каменные площадки, да посредине торчком стояли трубы, раскачиваемые ветром. Кругом упорные разговоры — это поджог, это месть казакам (ведь это был декабрь 1905 г., после ликвидации революции); говорили, будто такой-то фельдфебель дня за два перед тем, проходя по улице, слышал из толпы проходивших угрозу: «мы вам устроим розговены!» Фельдфебель, впрочем, не подтвердил определенно этого факта, но и не отрицал, — получилось странное впечатление, что он сам не знает, был ли этот факт на деле, или его создало его воображение в первые моменты после пожара. Но, помимо этого, был и другой большой вопрос, — говорили, что

там много людей сгорело, что у казаков были гости и что многие из них так и погибли в огне; путем очень большой проверки - удалось установить, что сгорело только два солдата, — один, про которого потом сказали, что он участвовал в расхищении склада, а другого не помню. Трупы их удалось найти, — впрочем, от одного уцелела только половина остова, а от другого все собранные остатки уложились в небольшую коробочку. Много было пострадавших от ожогов и расшибшихся из тех, которые выбрасывались в окна с третьего этажа. Между, прочим, как это ни странно, больше всех пострадал от ожогов дневальный, который, как он, по крайней мере, говорил, не спал; когда я увидел его в лазарете, это была какая-то мумия, — он был, весь обожжен и забинтован, были оставлены только маленькие отверстия для глаз, носа и рта, и уже не говорил, а едва пищал; совершенно нельзя понять, как он выжил, — в медицине считается, что не может выжить человек, у которого обожжено больше 1/3 поверхности тела, а он был обожжен почти весь. Наличие злого поджога можно было считать установленной, — например, даже оказалась запертой дверь, ведущая из главного помещения на главную лестницу, очевидно, в расчете, что люди тогда бросятся по узким боковым лестницам, — но виновников поджога, при полном содействии мне в этом отношении и местного судебного следователя, и полиции, и сыскного отделения, установить не удалось.

Между прочим, и в этой трагической картине пожара были случаи, вызывающие улыбку. Когда люди скакали прямо из окон третьего этажа в снег, один «жидочек» также решил выпрыгнуть, но, очевидно, не хватило смелости: он вылез ногами за окно, руками держится за подоконник, да испугался, так и повис, болтает ногами и кричит неистово; ефрейтор, раз уже спрыгнувший с третьего этажа, снова, с опасностью для жизни,

полез за ним по выступам стены, сдернул его и оба вместе рухнули на снег и вполне благополучно. Другой «жидочек» и при общей панике захватил свой сундучок и нашел путь по лестнице, но на последней площадке, в огне, растерялся и не мог найти выхода, и отчаянно кричит; унтер-офицер пробрался к нему в самый огонь и вывел его оттуда с сундучком. Вот, кстати, примеры того, как неосновательны наветы на дурное и жестокое будто бы отношение русского солдата к евреям. Правда, солдат посмеется над «жидочком», если он уже очень любит деньги и очень уже всего трусит, — но, в общем, отношение к ним вполне благожелательное и даже, как видите, для спасения их русские солдаты рискуют своею жизнью.

Из любопытных персонажей того времени отмечу еще двух специалистов-бегунов, При-нко и Ко-гова. Каждый из них бегал по 5, по 6 раз, сначала поодиночке, а затем вместе; последние два побега с Тульской гауптвахты были произведены артистически: первый раз они перепилили решетку окна и отогнули ее почти до земли, так что вышли из камеры даже с известным комфортом, как по мостику, а в другой раз бежали через дымоход. Впрочем, как легко они бегали, так легко их и ловили: они никогда не удалялись от города и многие солдаты уже имели сведения, где их надо искать, и ловили обыкновенно через несколько часов или через сутки после побега. Конечно, в связи с их побегами возбуждался вопрос об ответственности чинов караула, не предупредивших побега; в одном случае, когда была выпилена решетка, несомненно, был виновен ряд караульных унтер-офицеров, не осматривавших, очевидно, при приеме караулов, достаточно внимательно окон, тогда как самая работа по выпилке решетки шла не менее 4-5 дней, но обвинение часовых последнего караула в недосмотре за арестованными отпало, ибо путем точного чертежа и фотографических снимков

удалось установить, что, благодаря нецелесообразному устройству камеры, окно, через которое они бежали, находилось вне кругозора часового. Во втором случае также отпал вопрос о виновности караульных, так как печь, через которую они бежали, равно как и прилегающий угол камеры, оказались также недоступными наблюдению часовых; а самая подготовка побега была сделана настолько тщательно, что и предполагать какие-либо работы в печи никто не мог: один из этих бегунов был, по профессии, печник и, видимо, дело свое знал хорошо: вынимали они кирпичи совершенно незаметно, часть их опустили под пол, а остальные оказались, после побега, лежащими около печи, но вынуты они были поодиночке заранее, а только были оставлены на своих местах и скреплены мякишем черного хлеба. Однако, на последний раз эти бегуны изменили своей профессии, — соблазнились на кражу, украли довольно много разных вещей из местного лазарета. Меня это очень удивило, а еще больше я заинтересовался вопросом, почему именно подозрение в этой краже сразу пало на них, но оказалось дело проще: подозрение на них и не пало бы, если бы их сразу же, за 3 рубля, не выдал один из их же приятелей, к которому они, как люди неопытные, обратились за советом, как сбыть краденое. Еще одна характерная подробность: Тульский уездный воинский начальник, в ведении которого находился местный лазарет, человек очень почтенный, попытался было, после кражи, их усозвестить, стал их упрекать, но получил ответ: «Сами видим, Ваше Высокоблагородие, что нехорошо сделали, — надо было не из лазарета украсть, а из склада Вашего Управления.» Очевидно, они прекрасно знали, что, раз они уже за побеги и кражу заслужили себе арестантские отделения, то эта выходка, — по принципам определения наказания при совокупности преступлений, — является для них совершенно безнаказанной.

Помимо картин разнузданной преступности этот период призыва на службу массы чинов запаса дал много случаев обнаружения среди запасных душевных заболеваний. Иногда эти заболевания обнаруживались путем наблюдения, иногда же по поводу каких-либо резких выпадов: особенно был ярок случай, когда взводный унтер-офицер, прекрасный, исправный, под влиянием, очевидно, резкого припадка мании преследования, схватил винтовку, растолкал бывших около него и выбежал в поле и там, засев за бугром, ожидал врагов, приготовившись стрелять в каждого, кто к нему станет подступать; с большим трудом его удалось успокоить и обезоружить.

В этот же период мне пришлось встретиться с несколькими случаями так называемого «патологического опьянения». Как известно, обыкновенное опьянение, вызванное излишним употреблением спиртных напитков, не служит основанием для невменяемости. Иным является патологическое опьянение, т.е. опьянение, происшедшее, на почве какого-либо болезненного процесса в организме, от ничтожного количества вина; такое состояние вполне подходит под понятие «болезни, приводящей в умоиступление или беспамятство» и, таким образом, должно явиться законной причиной невменяемости. Особенно резко помню два случая. В Орле в Управление воинского начальника, явился эвакуированный с Дальнего Востока, вследствие ранения, солдат. Он был совершенно трезвый. Затем, в ожидании каких-то документов, он вышел на улицу, купил себе пирожок, и кто-то из товарищей предложил ему из маленькой чайной чашечки водки. Выпив немного, он сразу пришел в буйное состояние, полилась безобразная ругань, стал всех толкать и т.д., — ясно было, что с ним произошло что-то совершенно ненормальное. При допросе он мне заявил, что он помнит только момент, когда он держал в одной руке пирожок, а в другой эту чашку, а дальше уже ничего не помнит. При освидетельствовании у него

оказалось поражение, от ранения, мозговой оболочки и врач-эксперт без колебаний признал патологическое опьянение. Другой случай был в Брянске, в интендантском продовольственном заведении. Солдат, работавший около особой хлебопекарной печи с какой-то чудовищно большой температурой, должен был постоянно приближать голову к жерлу печи; раз, непосредственно после своей работы, он выпил рюмку водки и совершенно обезумел, начал буйствовать, — очевидно было острое мозговое явление, т.е. опять же патологическое опьянение.

За этот же период призыва в армию запасных можно было еще отметить значительное увеличение числа самоубийств. Известно, конечно, всем, что по каждому случаю скоропостижной смерти и в гражданском ведомстве всегда производится дознание, с целью определить, есть ли это смерть естественная, или самоубийство, или, может быть, и убийство, — но, кроме этого последнего случая, обыкновенно дело и ограничивается дознанием. В военном ведомстве вопрос стоит шире: там по каждому, даже очевидному, самоубийству производится обязательно следствие военным следователем, с целью установить, не было ли это самоубийство результатом каких-либо притеснений или злоупотребления власти со стороны начальствующих лиц или, вообще, лиц, от которых так или иначе зависел покойный. В большинстве своем дела о самоубийствах не вызывают особых трудностей, важно только иметь на виду хорошо подготовленного врача для производства вскрытия тела, но один случай мне очень хорошо запомнился как показатель того, как, все-таки, надо быть внимательным и осторожным при производстве подобного рода расследований.

Дело было в Брянске, в продовольственном заведении. Повесился солдат, призванный из запаса. Я прибыл на место часов в 10 вечера, вызвал в качестве понятых двух унтер-офицеров и

хочу идти с ними на место, так как труп, оказывается, еще не снят, но понятия мои определенно не решаются идти, боятся. Едва их уговорил, что ведь надо же идти, что ничего такого страшного нет. Взяли с собой еще человек двух-трех, чтобы помочь при снятии и переноске трупа. Пошли. Оказывается, тот повесился на чердаке одного из больших зданий. Картина, правда, была довольно жуткая: уже около 11 ч. ночи; широкий, большой чердак и в глубине его, освещаемый луной, как бы стоит на коленях человек; видно и лицо с высунутым вздутым посиневшим языком, и этот человек от ветра как бы поворачивается из стороны в сторону. Только подойдя вплотную можно было рассмотреть, в чем дело: он повесился так, что пальцами ног упирался в землю, а коленями только вершка на три не касался пола; это вполне возможно, так как повесившийся моментально, при сжатии горла, теряет сознание и уже не может изменить положения. Сняли мы его с петли и перенесли в помещение. Никаких следов насилия или борьбы на трупе не оказалось, так что предполагать в данном случае убийство и затем повешение трупа, с целью скрыть следы, оснований не было. Осмотрели его одежду, карманы; в одном из карманов нашли кошелек и в нем ключ от сундука. На утро, прежде допроса свидетелей, я приступил к осмотру сундука, в надежде найти какие-нибудь письма, которые могли бы помочь разгадать причину самоубийства, но ничего такого не нашел; между прочим, нашел в сундуке шейный крест на цепочке, а на трупе креста не было. Все данные осмотра были, конечно, занесены в протокол. Приступил затем к допросу свидетелей и тут же сразу выяснилось, что подкладка самоубийства романическая, — даже явилась и особа, из-за которой все это произошло. Вопрос можно было считать исчерпанным, но неожиданно последний из допрашивавшихся свидетелей мне заявил, что покойный незадолго перед тем еще раз покушался на самоубийство, бросился

под поезд, но поезд успели вовремя остановить, и он тогда сказал: «Бог не допустил!» Тут только я понял, какое громадное значение имел для выяснения дела казавшийся ничего незначащим факт, что шейный крест оказался в сундуке: ведь есть поверье, что человека с крестом Бог до самоубийства не допустит, и ясно, что когда он первый раз бросался под поезд и сказал «Бог не допустил», то на нем был крест, и этим он и объяснил неудачу покушения, а теперь, идя вновь на самоубийство, для верности, снял крест, запер в сундук, пошел и повесился. Для данного случая, правда, этот факт значения не имел, и без того было ясно, что здесь самоубийство, — а представьте себе, если бы еще было сомнение, самоубийство ли здесь, или убийство, какое бы громадное значение в сторону признания именно самоубийства получил этот факт, что крест снят и заперт в сундуке и ключ при покойном (значит, ясно, что снял и запер его он сам!), и какое бы ценное доказательство было вырвано из рук, если бы этот факт остался не отмеченным!

Вся масса полученных за этот период наблюдений и впечатлений, естественно, требовала известных выводов. Теория, очевидно, предполагает, что мобилизация армии, т.е. пополнение ее кадрового состава призываемыми из запаса, только понижает временно ее собственно-воинскую подготовку, и что достаточно за известный период поднять военно-технические знания призывных и получатся воинские части увеличенного состава, которые и по своему внутреннему облику будут вполне отвечать настоящим задачам армии. Практика, по моему убеждению, показала, что это ошибка, и глубокая ошибка. Поднять военно-технические знания у призываемых нетрудно, — они легко вспомнят то, что знали раньше, и научатся тому, что явится для них новым, — но надо суметь посмотреть прямо в глаза другому вопросу, насколько пополнение армии призванными из запаса изменяет внутренний облик армии. Те картины,

которые пришлось видеть мне, — а другие, я думаю, видели их не меньше, — определенно указывают, что с призывом запасных армия в своем внутреннем облике резко меняется. Я не стану, конечно, брать за основание для своего суждения те исключительно безобразные картины, которые были связаны с массовым назначением в одну часть «хитровцев», я не стану также отрицать влияния явно необдуманных, отмеченных мною ранее, приемов мобилизации, как то присылка запасных в неподготовленные к тому места, без достаточного оборудования всех материальных средств для их приема, неосновательных, иногда как будто нарочно придуманных, перетасовок командного состава, — но и за всем этим еще остается один большого значения факт: кадровый состав армии, взятый в каждый отдельный момент, представляет собою прочно спаянное целое, воспитанное в ясных принципах воинского долга, прибывающие же в войска по мобилизации запасные вносят с собою в армию дух «обывателя», не связанного идейно с армией, иногда всецело тяготеющего к личным интересам своего «гражданского» существования. Значение этого факта скажется более или менее резко в зависимости от того, какое процентное отношение составят прибывающие запасные к кадровому составу воинской части. При нормальной мобилизации пехотного полка, когда число прибывающих запасных почти равняется кадровому составу, кадровый состав, более спаянный в одинаковых принципах, сумеет сравнительно скоро втянуть в себя разрозненную обывательскую массу запасных и воспитать ее в духе воинского долга, но совсем иную картину представляют собою так называемые второочередные части и запасные батальоны, где кадровый состав является ничтожным по сравнению с числом прибывающих запасных: здесь несомненный перевес получает «обывательская» масса, и каким образом и когда проникнется она принципами воинского долга, неизвестно, — в

иных случаях никогда; в худших случаях эта обывательская масса, чувствуя свою силу, обращается в толпу, а там, где толпа, надо уже проститься с идейными началами и стремлениями. Я не сомневаюсь, что такой опыт всех прошлых мобилизаций не прошел даром, что этот опыт учтут лица и учреждения, ведающие мобилизационной частью, и установят известное равновесие между кадровым составом и числом призываемых в части запасных, хотя бы путем ограничения формирований второочередных и запасных частей, но я хотел бы поставить вопрос еще глубже: в чем причина такого глубокого различия между кадровым составом армии и прибывающими чинами запаса? ведь эти запасные тоже в свое время прошли ряды армии, — почему же они так стали отличаться от того, кем сами были раньше?

Причина этого, мне кажется, лежит не в отдельных людях, а во всем складе общественной русской жизни, который не только не культивирует, но понижает, иногда сводит почти на нет самые идейные человеческие движения, и во всяком случае засылает их таким слоем различных безыдейных настроений и стремлений, за которыми эти идейные движения почти не видны и не чувствуются. Русское общество, давая из своей среды ученых, адвокатов, врачей, педагогов, инженеров, деятелей и работников по экономической жизни страны, слишком мало занимается вопросами об идейном строительстве жизни масс, отдавая эти массы целиком во власть жизненной материальной борьбе. Борьба эта, как всякая борьба, ожесточает; одни теряют свои силы в погоне за материальными благами и вопросы идейного характера отходят у них на дальний план; другие теряют свои духовные силы в круговороте житейских соблазнов, а на место теряемых ими идейных движений общество не дает им ничего поднимающего, ничего оздоравливающего, — масса живет только ближайшими интересами личной жизни. Воспитывает ли наше общество в каждом из своих членов героя

рыцаря? — Конечно, нет. Говорят ли у нас громко, убежденно, вдохновенно о своей родине? — Говорят об этом в школах, да и то часто не очень вдохновенно, и не очень убежденно, иногда говорят в семье, а в обществе, для широких масс, об этом даже как бы стесняются говорить и едва ли не признаком хорошего тона считалось даже известное пренебрежение к России и сопоставление ее, не в ее пользу, с остальной Европой. Говорят ли у нас горячо и убежденно об армии, как о хранительнице чести и достоинства России? — Нет, об этом уже совсем мало говорят, — напротив, Вы чаще могли слышать пренебрежительное, недоброжелательное отношение к армии. Либеральная интеллигенция презрительно отзывается о «военщине», «солдатчине», иронизирует над «шагистикой», офицеры, по ее мнению, люди, способные только командовать «раз, два!», а солдаты представляются ей как бесправные, забытые люди, в которых выбивается все живое «бессмысленной» дисциплиной. Молодежь, к сожалению, очень легко усваивает этот тон насмешки и пренебрежения и, в большинстве случаев, не умеет серьезнее взглянуть в жизнь и назначение армии. Чего же ждать от слоев менее интеллигентных? интереса к армии в них совершенно нет; что армия существует, это, они скажут, хорошо, но если надо самим идти в армию или детей своих посылать, то уже шевелится мысль, что хорошо бы этого избежать. Вот в таких-то началах общественной жизни и в таком отношении к армии и лежит разгадка того, что только единичные личности из прошедших ряды армии сохраняют навсегда ту степень сознания общегражданского и воинского долга, которую они усвоили в армии, большинство же, уходя с головой в жесткие условия жизни, незаметно для себя совершенно теряет связь с армией, когда-то вкладывавшей в них лучшие, более идейные задатки.

В таком отношении к армии большая вина общества. Неужели же люди не понимают, что армия живет и готовит себя на

великий жертвенный подвиг? Неужели же общество не прониклось убеждением, что и оно все, в полном составе, должно быть готово к тому же жертвенному подвигу? Неужели же оно может думать, что пусть, в случае войны, умирают офицеры и солдаты, которых застанет война на действительной службе, а мы, остальные, можем спокойно сидеть и продолжать свое обычное мирное существование? — Ведь надо только поставить эти вопросы, чтобы ответ на них был ясен: ничем нельзя оправдать отрицательного отношения к армии; кто хочет себя уважать, тот должен сознать себя как участника защиты чести и достоинства своей родины, и каждый в себе и каждый в других должен воспитывать чувство уважения к армии и готовность служить своими силами ее задачам. Пусть в нормальных условиях жизнь идет своим порядком, — но пусть каждый знает, что у него есть долг гражданина перед родиной, что яркой выразительницей этого долга является армия, и тогда призыв в армию будет принят, как призыв подняться над обыденными интересами жизни, отдать свои силы служению великой идее. И тогда мы в праве были бы сказать, что в тяжелые минуты государственной жизни на защиту родины встают все ее лучшие силы, что увеличенная по мобилизации армия есть армия народной мощи, физической и духовной.

Октябрь 1905 года. Будучи всецело занят своими следственными делами, в непрерывных разъездах, я почти совершенно просмотрел назревавшее в известных кругах революционное настроение. Числа 8-10 октября (в числах, может быть, ошибаюсь), выехал я из Орла в Тулу по одному небольшому делу и рассчитывал, что пробуду там день, а с ночным поездом вернусь обратно. Поехал совсем налегке, с одним портфелем и с 15 рублями в кармане. Пришлось, однако, задержаться там еще и на следующий день, и тогда, окончив дело, собрался выехать из Тулы в 5 час. дня. Неожиданно узнаю, что Московско-Курская

дорога стала в 3 часа дня. Решил попытать счастья и пробраться кругом, через Сызрано-Вяземскую дорогу: поезд должен был там отойти около 1 ч. ночи; приехал туда на вокзал часов в 12 ночи, — оказывается и эта дорога в 11 ч. ночи забастовала. Положение неприятное. Приглядываюсь к лицам, к настроению: настроение на вокзале смутное, — железнодорожное начальство озабочено, рабочие и низшие служащие чувствуют себя приподнято, возбужденно, но особой уверенности незаметно, скорее проглядывает тревога. Пришлось вернуться в гостиницу. Думаю, пройдет дня два и все наладится. На следующий день в городе настроение взвинченное; было что-то в роде митинга на базаре. В частях войск все спокойно. Однако, проходит два, три, четыре дня, поезда все стоят. Рабочие, — а в Туле масса рабочих, — ходят уже торжествуя по улицам. Жизнь в городе по вечерам замирает. Деньги мои подходят к концу. Один из командиров полков, видя, что я здесь задерживаюсь, предложил переехать к нему; очень симпатично проводим время, а дни все идут. Слышу, что некоторые московские богачи, застрявшие в Туле, за громадные деньги выписывают из Москвы автомобили. Пытаюсь нанять лошадей, — просят до Орла не меньше 200 рублей. Потом меня пригласил один из офицеров запаса, горный инженер, переехать к нему. А дни все идут и надежда, что поезда скоро пойдут, становится все туманнее и туманнее. Приглядываюсь к настроению в городе, — оно все тревожнее. Между прочим, два раза чуть не попал в неприятность. Раз иду часов около 8½ вечера по главной улице, улица совершенно пуста, ни прохожих, ни извозчиков нет. С боковой улицы появилось сзади меня два человека и, слышу, догоняют меня; голоса возбужденные. Слышу, наконец, такой разговор: «Да он ли это?» — «Ну, конечно, он!» — «Смотри, не ошибиться бы!» — «Чего там ошибаться, — конечно он!» — и уже быстро подходят ко мне шага на

четыре. Я, конечно, понял, что они меня приняли за кого-то такого, с кем, при такой обстановке, было очень соблазнительно расправиться, — вероятно, думаю, за жандармского офицера, ибо военно-судебное ведомство имеет также серебряный прибор, — и был момент, когда я ждал, что получу или пулю в спину или удар по голове. Тут я опять применил испытанный способ: повернулся к ним, оказался лицом к лицу, и спросил: «скажите, пожалуйста, вы не знаете, где здесь парикмахерская?» Впечатление получилось удивительное: они, очевидно, увидали, что они ошиблись, что я не тот, за кого они меня принимали, и сначала совершенно оцепенели, затем растерянно стали указывать: «вот там, там... большой фонарь!» — и затем повернули и быстро пошли назад.

Другой случай был смешнее. Иду поздно вечером по какому-то делу в Управление воинского начальника; оно помещается в довольно глухой боковой улице. Догоняю какого-то пьяного; он в самом веселом настроении и начинает со мной разговор. Мирно продолжаем путь вместе, он то в стенку толкнется, то в меня; я ему даже дал гривенник, так как он печалился, что хочется еще выпить, да денег нет. Подходим к кабачку, и я уже думаю проститься с своим компаньоном, как неожиданно из кабака появляется угрюмая фигура какого-то весьма всклокоченного человека. Фигура эта устремляет на меня взгляд и мрачно восклицает: «А, Сергей Иванович!» Я спрашиваю своего пьянчугу-компаньона: «Это ты Сергей Иванович?» — а мрачная фигура мне заявляет: «Нет, это Вы Сергей Иванович! Вы думаете, мы Вас не знаем? Отлично мы Вас знаем! это Вы сейчас так одеты, а потом переоденетесь, — да все равно, мы Вас все знаем!» Мой пьянчуга тоже добавляет: «Верно, верно, Сергей Иванович!» Очевидно, и эти приняли меня за какого-то мало приятного им человека, — опять же, думаю, за жандармского офицера. Вижу, что, пожалуй, дело может

кончиться и неприятно, я оборвал разговор, сказал им, что они глупости говорят, и предложил им не терять времени и идти себе в кабачок; они ушли, но, откровенно говоря, я, все-таки, ждал еще, что они могут вернуться с кем-нибудь еще из кабацкой компании, но все обошлось благополучно.

Вообще в то время среди рабочих больше всего было раздражение против жандармов. Мне раз надо было вызвать одного жандармского унтер-офицера с вокзала Сызрано-Вяземской дороги. Звоню по телефону в дежурную комнату, прошу его вызвать; в ответ слышу: «не позову!» Спрашиваю, почему, — «не хочу!» — «Да почему не хотите?» — «Не хочу я звать жандарма!» — «А кто Вы такой?» — «Не скажу!» — и повесил трубку. Пришлось посылать нарочно вестового.

Однако, терпение мое истощалось, надо было выбиваться из создавшегося неопределенного положения. Подыскал я себе двух компаньонов до Мценска и решили идти пешком, но в последний момент удалось найти извозчиков, которые взяли нас везти, их до Мценска за 15 руб., а меня до Орла за 25, — и поехали. Смешно было ехать трое суток на лошадах вдоль железной дороги, где на некоторых станциях стояло по несколько составов поездов. Любопытны были и два типа извозчиков: мой — старик лет 60-ти, высокий, коренастый, по виду ему можно было дать лет 40, серьезный, выдержанный, — очень критически относился к революции; другой — молодой, лет 25, — с радостью, видимо, мечтал, как все у господ будут отбирать и делить; напрасно мы ему говорили, что он, — имея что-то около 5 десятин земли, свою хату, 4 лошади и прочее хозяйство, и около 300 рублей чистого дохода деньгами в месяц, — меньше других может завидовать служащим людям, что, если делить, то ему-то, пожалуй, придется кое-что из своего отдать, — он и слышать ничего не хотел; мы своих ямщиков по дороге и кормили и поили, но молодой все же смотрел на нас зверем; мой старик его

определенно презирал. Только на 16-й день после выезда из Орла я вернулся туда обратно.

В дальнейшем можно было резко заметить, что большой размах революция получила в Туле и в Брянске, т.е. в городах с большим фабричным населением, тогда как в Орле и в маленьких уездных городах революционного настроения почти не было.

По счастью это революционное настроение совершенно не коснулось войск, и только в декабре 1905 г. в хаос бесчинств, которые прокатились по всей России, втянулись отчасти и солдаты. Это не были солдаты строевых частей, составлявших гарнизоны городов, а солдаты возвратившихся с Дальнего Востока расформированных команд, местами задерживавшиеся до окончательного ухода по домам. Несколько таких команд, например, остановилось в Брянске, и мне лично один раз пришлось столкнуться с творимыми ими безобразиями. Был я тогда в Брянске на каком-то следствии. Брянск-город отделен от своих двух вокзалов, — Риго-Орловской и Московско-Киево-Воронежской железных дорог, — рекою Десной. От вокзала Риго-Орловской дороги через Десну устроен временный плашкоутный мост, который зимой снимают, и тогда ездят прямо по льду, по реке. Почему-то в это время лед на Десне разломался и, не наводя моста, переправу через Десну совершали на лодках. Окончил я следствие часов в 6 вечера и собрался ехать на Риго-Орловский вокзал, но оказалось, что ехать нельзя, переправы нет, ибо лодочники, работая на холоду, к 5 часам вечера так напиваются, что после 5 часов им запрещено перевозить. Тогда я решил ехать на Московско-Киево-Воронежский вокзал, куда вел постоянный мост, чтобы потом по передаточной линии попасть на Риго-Орловскую дорогу. Но передаточный поезд шел только около 12 часов ночи, и до вокзала надо было ехать верст 7-8. Сижу и жду в гостинице, а затем около 10½ часов вечера

прошу хозяина позвать мне извозчика. Он что-то замялся, но пошел и позвал. Схожу уже одетый по лестнице, — хозяин меня окликает: «Не ездите», говорит, «не доедете». Я удивился, спрашиваю, в чем дело. «Да разве Вы не знаете, что на тот вокзал теперь даже и днем-то ехать опасно, ведь там по дороге каждый день по 7, по 8 человек убивают, — это все наши запасные, — а как же Вы хотите ехать ночью? Не доедете!» Подумал я и решил остаться в гостинице до утра. Но как мне было неприятно сознавать, что из-за солдат, — с которыми, казалось бы, можно чувствовать себя, как со своими, — пришлось отложить поездку, что из-за солдат нельзя проехать на вокзал!

Летом 1905 года я получил назначение помощником военного прокурора в Одесский военно-окружный суд. Жаль было оставлять свой следственный участок. Несмотря на то, что работа следователя бывала подчас очень тяжелой, она давала очень многое в смысле судебной техники, и особенно в смысле навыка искать и находить правду, в смысле умения разбирать правду и ложь в словах людей, умения угадывать потайные пружины людских поступков. Жаль было оставлять и уже налаженный следственный аппарат: в каждом городе я уже имел хороших врачей-экспертов из военных или земских врачей, которых удалось заинтересовать судебно-медицинской работой, а в больших городах и врачей-экспертов по специальным болезням. Удалось добиться и значительного улучшения и постановке военно-судебного дела в частях войск, в смысле производства дознаний, направления дел и рассмотрения их в полковых судах; в одном из полков удалось привлечь к этому делу призванного из запаса следователя Рязанского окружного суда, и его серьезная работа сразу дала себя знать; в другом полку ту же работу с большим успехом выполнял также призванный из запаса помощник присяжного поверенного; в сотрудничестве с

ними с большой энергией и знанием работали на судебном поприще и строевые офицеры.

Впрочем, и новая предстоявшая мне работа в должности помощника военного прокурора в Одесском военно-окружном суде открывала большие и интересные перспективы в том смысле, что, как я знал, в Одесском военном округе, в силу того, что он был на военном положении, к компетенции военно-окружного суда относились все дела о важнейших уголовных преступлениях, совершаемых лицами гражданского ведомства, — что давало большой материал для наблюдений и обещало большой судебный опыт.

III

В Одессу я прибыл в начале сентября 1906 года. Первые впечатления были, что город, о котором так много говорили, как о городе, полном жизни, потерял свою жизнерадостность; чувствовались следы какой-то пережитой и еще не ушедшей тревоги. Революционная волна 1905 года сильно задела Одессу и, кроме чисто революционных выступлений, разбудила и разнуздаła беспокойные элементы города и город жил под постоянным опасением вымогательств, вооруженных нападений и т.д. Возьмете Вы утром газету и прочтете сбывших за день в городе 5-6 убийствах, 5-6 разбоях, а по ночам слышите то там, то там стрельбу. Чувствовалось, в общем, что власть овладела уже положением, но еще и преступные силы не сдавались. Преступный элемент, главным образом, состоял из «революционной молодежи», — из среды рабочих и молодого еврейства. Очень были распространены так называемые вымогательства, т.е. требования от состоятельных людей денег в крупных суммах, с угрозой, в случае невыдачи, смертью; часто эта угроза приводилась в исполнение. Как это ни странно, но эти вымогатели оказывались в очень благоприятном положении. По закону, в то время существовавшему, вымогательство состояло в числе так называемых уголовно-частных преступлений, по которым судебное преследование виновных могло начаться не иначе, как по жалобе потерпевшего и во всякий момент могло окончиться примирением между жертвой и виновным, т.е. прекращением дела без наказания виновного; власть сама по себе не имела права, без жалобы потерпевшего, привлекать виновных к ответственности. Вымогатели отлично пользовались этим привилегированным положением: после нескольких случаев осуществленной угрозы смертью, запуганный обыватель редко отказы-

вал в выдаче денег, а так как к требованию обыкновенно присоединялась угроза, что, в случае жалобы, ему также грозит смерть, то обыкновенно и не решался жаловаться; если же ктонибудь и заявит жалобу, то за этим ему следовало новое уведомление, что, если он немедленно не примирится с виновным, то также будет убит, и после этого почти всегда уже потерпевший делал заявление, что он «примирился» с виновным, и всякое судебное преследование виновного прекращалось, вымогатель торжествовал и мог снова беспрепятственно продолжать свою полезную деятельность в том же направлении. Только после целого ряда таких печальных инцидентов и настойчивых представлений судебных властей был издан закон, которым, подобное вымогательство было изъято из числа уголовно-частных преступлений и стало преследоваться в общем судебном порядке.

Очень были распространены в Одессе тогда и разбои, — т.е. насильственное, под угрозой смерти, или и с убийством, отнятие денег или драгоценностей. Прием обыкновенный: врывается компания, наставляет револьверы, «руки вверх!» и отбирают, что возможно. Впрочем, это, по тогдашней терминологии, называлось не разбоем, а «экспроприацией». Как известно, экспроприацией называется принудительное отчуждение, распоряжением государственной власти, частной собственности ради общественной пользы за справедливое вознаграждение, — наши же одесские экспроприаторы также совершали «принудительное отчуждение частной собственности», но только в свою пользу. Термин этот вначале пустили в оборот революционные организации, добывавшие, частью путем вымогательств, а частью именно путем таких разбоев, деньги на свои партийные цели, — но напрасно и они прикрывались этим более красивым термином: их разбои и вымогательства все же оставались разбоями и вымогательствами.

Революционные организации в Одессе к тому времени еще существовали. В главном они уже были разбиты, открытых партийных выступлений почти уже не было, но члены этих организаций еще иногда проявляли себя одиночными выходками. Таких революционных организаций было, собственно, две: партия социал-демократов и партия социалистов-революционеров. Партия социал-демократов, поставившая на своем знамени девиз: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», в своих прокламациях, широко распространявшихся в Одессе, была более теоретична, однако, неизменно твердила, что «Российская социал-демократическая рабочая партия поддерживает всякое оппозиционное и революционное движение, направленное к ниспровержению существующего в России государственного и общественного строя». Главным образом ее агитация шла среди рабочего класса, по программе Маркса, с девизом борьбы рабочих против капиталистов, в интересах дальнейшей социализации промышленных предприятий, — и в этом смысле она была очень сильна в Одессе, где масса рабочих, ремесленников, приказчиков и т.д. очень увлекалась этой идеей социализации фабрик, заводов, и во всяком случае эта партия играла большую роль в деле создания и обострения классовой ненависти. По отношению к крестьянам эта партия замалчивала свои положения, ибо она знала, что социализация земли, т.е. обращение земли в общественную собственность с правом для отдельных крестьян лишь пользования землей, с уравнительным распределением плодов работы, совершенно не соответствует истинным мечтам крестьянина об увеличенной земельной собственности, — и поэтому свои обращения к крестьянам считала лишь «тактическим шагом», направленным к возбуждению их недовольства против помещиков-собственников, к подготовке из крестьян массы, готовой на «ниспровержение существующего в России государственного общественного строя».

Партия социалистов-революционеров была, главным образом, партией крестьянского революционного движения и, как таковая, в Одессе, городе фабричном, промышленном и торговом, большого развития получить и не могла бы, но поставленный ею лозунг «В борьбе обретишь ты право свое», с проповедью неустанной борьбы против существующего государственного строя, сильно действовал на неуравновешенные, беспокойные элементы, заражая их самой идеей борьбы, — и на ее совести была, главным образом, организация террористических актов против представителей власти; главными жертвами этой партии были городовые, жандармы, пристава, но доходило и до высших чинов администрации. В Севастополе, например, было совершено покушение на генерала Неплюева, бывшего тогда комендантом города: в момент выхода его из собора, в него была брошена бомба, которою 6 человек было убито и 30 ранено. Организатором этого покушения был известный Борис Савинков, — впоследствии управлявший военным министерством при Керенском, а затем, после целого ряда неопределенных политических зигзагов, «выбросившийся из окна» у большевиков. К сожалению, он после этого покушения успел скрыться и прислал письмо в суд из Швейцарии с указанием своего адреса.

Обе эти политические партии, безусловно, лишь в очень незначительной части имели в своем составе идейно-убежденных людей, большинство же состояло из навербованных, озлобленных, недовольных, беспокойных элементов большого города, причем в «послужных списках» этих революционеров нередко значились в прошлом и деяния мало почтенного характера в роде краж, грабежей и т.д. Анархисты-коммунисты и анархисты-индивидуалисты были в очень ограниченном количестве.

На борьбу с этими революционными организациями в Одессе выступил «Союз русского народа», — насчитывавший в своих рядах очень значительное число членов; состоял он тоже, главным образом, из молодежи, и очень решительной; знаю, например, такой случай: как-то вечером, в центре города, одна революционная группа была обнаружена полицией; полиция окружила дом, где она находилась, но ничего сделать не могла, — те, потушив свет, отстреливались; явились на место члены «Союза русского народа», узнали в чем дело, ворвались в дом и повытаскали оттуда стрелявших. Конечно, революционное население города звало этих членов Союза русского народа «черносотенцами», «хулиганами», — но факт остается фактом: этот союз много принес делу освобождения Одессы от революционных элементов; противопоставив силу силе, решительность решительности, он заставил преступные элементы революционного мира сократить свои выступления.

Район действия Одесского военно-окружного суда составляли Херсонская и Екатеринославская губернии, Бессарабия, Крым и Область Войска Донского. На этом пространстве, помимо нормальной подсудности военнослужащих, ведомству военно-окружного суда подлежали все совершенные лицами гражданского ведомства наиболее тяжкие преступления, как то убийства, разбои, поджоги, вооруженное сопротивление органам власти, нападение на них, и дела о принадлежности к революционным сообществам и о революционных выступлениях. Эти дела выделяются в военную подсудность, при объявлении местности на военном положении, в силу самого закона, а при объявлении ее на положении чрезвычайной или усиленной охраны — распоряжением Главноначальствующего или Генерал-губернаторов. Выделение дела в военную подсудность влечет за собою и применение процессуального военного кодекса

и применение, в известных случаях, наказаний по законам военного времени: за вооруженное нападение на органов власти, за вооруженное им сопротивление, за убийство, покушение на убийство, за разбои и поджоги по законам военного времени полагается смертная казнь, по отношению же ко всем остальным преступлениям, даже и при выделении их в военную подсудность, военные суды назначают тоже наказание, которое могли бы назначить и суды гражданского ведомства, и, следовательно, в этих случаях, смысл передачи таких дел на решение военного суда заключается только в большей скорости рассмотрения таких дел, по срокам военного времени, в большей решительности военного суда и в большей устойчивости его решений по сравнению с судом гражданского ведомства.

К моменту моего приезда Одесский военно-окружный суд был буквально завален такими делами; помимо того, что в самой Одессе судебные разбирательства шли ежедневно, параллельно с тем в течение 8-9 месяцев в году во всех более крупных центрах, — в Екатеринославе, Херсоне, Севастополе, Новочеркасске, — были выездные сессии суда, также имевшие ежедневные судебные заседания. По должности помощника военного прокурора я должен был рассматривать поступающие в военно-прокурорский надзор следственные дела, составлять по ним заключения, — или заключения о прекращении или обвинительные акты, — а в судебных заседаниях выступать в качестве обвинителя.

Самым острым вопросом времени был, конечно, вопрос о смертной казни. Совершенно ясно, что исключительная суровость этой кары налагает особые обязанности на суд в смысле осторожности ее применения, но я не могу стать на точку зрения тех лиц, которые готовы изломать правосудие, лишь бы не применить к виновному смертной казни, когда она определяется законом за данное его преступление. Смертная казнь,

определяемая судом, не является неожиданностью для виновного, ибо заранее объявляется, за какого рода преступления она будет определяться, и уже дело каждого, идущего на преступление, считаться с возможностью объявленной кары. Затем я совершенно не принадлежу к людям, страдающим, по выражению А.Ф.Кони, «жестокою чувствительностью», которые слишком чувствительны к виновнику преступления и слишком жестоки к его жертве, — мне лично всегда больше жаль жертву преступления, чем виновника его. В Одессе в то время вопрос о смертной казни, назначаемой судом, служил специальным средством для возбуждения вражды и к суду, и к администрации. Около здания военно-окружного суда, по каждому делу, по которому мог быть смертный приговор, собиралась громадная толпа народа и часами иногда ждала момента произнесения приговора и, если оказывалось, что подсудимый приговорен к смертной казни, то в толпе раздавались крики ужаса, иногда рыдания, истерики; правды в этом не было, — было, конечно, много горя в таком осуждении для близких к осужденному лиц, но таких лиц в толпе бывало, может быть, по 10- 15 человек, это максимум, а все остальные только инсценировали свое возмущение и сострадание: проходя сейчас же после объявления приговора через эту самую толпу, я видел совершенно безучастные лица, слышал смех и совершенно посторонние разговоры, — очевидно, до судьбы осужденного всей этой массе не было никакого дела. К тому же в это время все эти инсценировки были и совершенно излишни: применение смертной казни фактически было сведено до минимума; каждый приговор о смертной казни представлялся на утверждение Командующему войсками округа или Генерал-губернатору и уже совершенно определено положение, что, если только виновным не было совершено убийство, то, безусловно, смертный приговор не будет утвержден и смертная казнь будет заменена каторжными работами,

т.е. нормальным наказанием. Бывали даже такие случаи, что один и тот же подсудимый несколькими приговорами по отдельным делам, по соучастию с разными лицами, был присуждаем к смертной казни, и ему каждый раз наказание смягчалось и он совершенно спокойно шел и на новое свое обвинение, будучи уверенным, что, если и на этот раз его присудят к смертной казни, то все же она применена не будет. Помню раз такое дело: обвинялось 5 человек в разбое, происшедшем без убийства; потерпевший, почтенный еврей, дает серьезно свои показания, всех обвиняемых опознает, во подтверждает, что, на самом деле, разбойников было не пять, а шесть, как значилось и по делу. Затем дает показание один свидетель, уже перед тем недели за две присужденный за такой же разбой к смертной казни, которому она была заменена каторгой на 20 лет. Вдруг получается неожиданность: после его показания встает потерпевший и заявляет: «А вот этот самый и есть шестой разбойник!» Заявление это было занесено в протокол, дело было приостановлено и направлено к доследованию для привлечения нового обвиняемого, — а уличенный выслушал это совершенно спокойно, не стал даже и протестовать против такого обвинения, так как он отлично знал, что, все равно, и в этом случае, смертной казни ему не будет.

Проведя в Одессе несколько незначительных дел, я в конце сентября 1906 г. был назначен исполняющим обязанности военного прокурора в сессию военно-окружного суда в Екатеринослав. Об этой сессии говорили как об одной из самых серьезных: помимо общеуголовных дел, здесь впервые подлежали рассмотрению крупные политические дела о железнодорожных забастовках и революционных выступлениях 1905 года. Дел было много, — расписание дел было составлено до половины декабря. Помимо количества и рода дел имелось в виду еще и

то, что Екатеринослав, вообще, отличался своим революционным настроением, и предполагалось, что военный суд встретит там резко враждебное отношение. Поэтому Командующий войсками округа генерал Каульбарс потребовал, чтобы мы, т.е. председательствующий и я, не останавливались в частной гостинице, и нам было отведено помещение в офицерском собрании 133 пехотного Симферопольского полка; на вокзале нас встретил взвод драгун, который и эскортировал нас до назначенного нам помещения. Почти с самого момента прибытия к нам стали приезжать то начальник жандармского управления, то начальник охранного отделения, то начальник сыскного отделения, и все предупреждали, чтобы мы были осторожнее, просили, если можно, никуда не выходить, так как, по их сведениям, на нас готовятся покушения: один раз, говорят, задержали какого-то человека, поселившегося вблизи нашего помещения и имевшего при себе бомбы; другой раз на трамвае, по направлению к нам, задержали какого-то человека с бомбой, — хотя, собственно, этих данных еще было мало, чтобы считать, что эти бомбы предназначались именно для нас. Мы, однако, не очень слушались этих предупреждений, ходили по городу, а особенно часто посещали Таврический сад: с нами всегда ходил и наш помощник секретаря, в штатском, и мы смеялись, что его-то, вероятно, и будут все считать за прикомандированного к нам агента охранного отделения. На настойчивые просьбы не выходить мы стали, наконец, отвечать шуткой: «Помилуйте», говорили мы, «ведь мы здесь пробудем почти три месяца и, если не будем выходить, то, наверное, за это время умрем, а так, все-таки, больше вероятия остаться в живых, ибо, если и будут стрелять, то ведь не обязательно попадут, могут и промахнуться.» Впрочем, несомненно, известная осторожность требовалась, за нами, безусловно, следили: было три случая, когда нас явно преследовали и, вероятно, только внимание и удачное занятие

нами по отношению к преследующим более выгодного положения избавляли нас от покушений.

Настроение в городе, как мы пригляделись, было не столько революционное, сколько вообще беспокойное, взбудораженное, — много даже более беспокойное, чем в Одессе. На этой почве произошел довольно оригинальный случай. Были мы приглашены на обед к губернатору, а перед тем решили прогуляться и пошли по большому мосту через Днепр, который ведет в поселки Амур и Нижнеднепровск. Перед обедом, естественно, зашел разговор о настроениях в Екатеринославе и губернатор сказал, что теперь, по сравнению с тем, что было, положим, за полгода назад, в Екатеринославе совершенно спокойно, а затем стал нас расспрашивать, как нам здесь нравится. Мы сказали, что Екатеринослав нам очень нравится и что мы вот только что совершили прекрасную прогулку. Губернатор встревожился: «Как! Вы были на этом мосту? ходили к Амуру? — да ведь туда же нельзя ходить, там ежедневно бывает по 5 - 6 убийств, а как же вы, за которыми, несомненно, следят, туда идете?» — «Ваше Превосходительство», ответили мы, «да ведь Вы же сами сказали, что теперь в городе совершенно спокойно!» — «Да», — сказал он, «в городе-то еще ничего, а туда ходить совершенно невозможно.» Действительно, как мы потом узнали, эти два рабочие поселка, Амур и Нижнеднепровск, были резко-революционно настроены и там очень часто были убийства городских, приставов и т.д. Помню, раз в судебном заседании одному из допрошенных свидетелей городовому было предложено идти домой, но он просил разрешения остаться дожидаться других свидетелей, городских и пристава, так как надо идти на Амур, а туда им поодиночке ходить невозможно. К сожалению, почти все эти убийства чинов полиции оставались не раскрытыми. При таком положении дела командир расположенного в

Амуре и Нижнеднепровске кавалерийского дивизиона, при обнаружении первых же фактов явно враждебного отношения населения к чинам его отряда, объявил населению, что, если будет убит или ранен хоть один солдат или офицер его дивизиона, то он сожжет оба эти поселка, и это решительно подействовало, никаких покушений ни на кого из них не было. Этот факт совершенно определенно указывал, что и убийства чинов полиции не были делом отдельных, не связанных друг с другом лиц, а были работой целой преступной организации, имевшей прочные связи с населением.

Если, однако, вопрос о непосредственной опасности для нас, т.е. для состава суда, оставался еще под сомнением, то ясно сказалась другая тенденция, — опорочить суд со стороны его законности, показать нашу кровожадность, выставить нас, как «палачей». Чуть ли не на второй день нашего прибытия в одной из местных газеток появилась статья, где именно в таком духе освещалась населению предстоящая работа нашей сессии. В этой статейке, например, было указано, что первым назначено дело о «скромном юноше 18 лет», к которому, по приговору суда прошлой сессии, не была применена смертная казнь, но, вследствие «незаконной» отмены этого приговора, теперь его дело будет снова пересматриваться с тем, чтобы назначить ему смертную казнь; далее указывалось, что вообще вся сессия будет состоять из ряда дел, по которым нужно ждать смертных приговоров, хотя, в действительности, по характеру преступлений, этого не должно бы быть, и применение смертной казни будет являться произвольным толкованием законов, — и т.д. в таком же роде. Все это было сплошной ложью. Этот «скромный юноша 18 лет» на самом деле был 24-25-летний парень, совершивший два убийства; предыдущий суд совершенно неправильно не применил к его преступлению законов военного вре-

мени и, естественно, этот приговор был в кассационном порядке отменен. Чтобы сразу же оказать противодействие таким выпадам газетки, я, по соглашению с председателем, составил опровержение на эту статью и председатель, с этим опровержением, поехал поговорить на эту тему с генерал-губернатором. Генерал-губернатор посмотрел на дело еще решительнее; он вызвал к себе редактора этой газеты, прочел ему его статью, прочел ему наше опровержение и затем предложил на выбор: или пусть он в своей газете поместит наше опровержение и даже не в виде нашего возражения, а в виде заявления своей газеты, или он будет выслан, а газета закрыта. Редактор поспешил согласиться на первое и на следующий день в газете на первом месте, за подписью редакции, появилась статья, приблизительно, следующего содержания: — «Помещенная в N2... нашей газеты статья под заголовком... представляет собою сплошной вымысел. Сведения о том-то... являются совершенно не соответствующими истине. Такое-то указание статьи... является явно тенденциозным. Сообщенный в статье факт... является грубым искажением действительной обстановки» и т.д. После этого атмосфера стала совершенно нормальной и отчеты газеты о наших делах стали вполне соответствовать истине.

Одним из первых дел нашей сессии было дело о крестьянине Василии Даценко, 23 лет, анархисте-коммунисте, обвинявшемся в убийстве пристава. Введенный в зал судебного заседания с двумя конвойными, Даценко в весьма развязной позе развалился на стуле. Когда председатель обратился к нему с формальными вопросами об его имени, фамилии, возрасте и т.д., Даценко, оставаясь в той же позе, сказал: «А зачем, собственно, я Вам должен об этом говорить? «Председатель ему заявил, что, если он об этом спрашивает, то спрашивает в силу закона, и напомнил Даценке, что при обращении к нему суда он должен вставать. Даценко демонстративно неохотно поднялся.

На вопрос, признает ли он себя виновным в предъявленном ему обвинении, Даценко заявил: «Я вообще не считаю нужным давать Вам какие-нибудь объяснения, я пришел к Вам не судиться, а выслушать смертный приговор» — «Если Вы его заслужили, Вы его услышите», ответил ему председатель, «но я Вам обязан предлагать такие вопросы; Вы, по закону, имеете право не отвечать на предлагаемые вопросы и Ваше молчание не может быть сочтено за признание вины, но во всяком случае быть приличным по отношению к суду, когда он к Вам обращается, Вы обязаны.» При начавшемся допросе свидетелей Даценко держал себя неприлично, и председатель еще раз напомнил ему: «Вы жаловались на следствии, что с вами в полиции обращались некорректно, — потрудитесь же сами быть корректны по отношению к свидетелям.» Несмотря на все эти предупреждения, Даценко одного из свидетелей выругал и тогда суд постановил удалить его из залы заседания и продолжать рассмотрение дела в его отсутствие. По окончании допроса свидетелей Даценко снова был введен в зал и председатель передал ему сущность показаний, данных в его отсутствие. Даценко опять заявил, что пришел не судиться, а только выслушать смертный приговор. Приговором суда он был присужден к смертной казни. По прочтении этого приговора, Даценко театрально воскликнул: «Да здравствует анархический коммунизм! Смерть тиранам!», но эффекта это никакого не произвело, — сопровождавшие его конвойные отнеслись к его возгласу совершенно безразлично. После этого от одного из присутствовавших при его казни лиц я слышал, что Даценко перед самой казнью так хвастался своим прошлым: «У меня был товарищ, — его две недели тому назад повесили по приговору полевого суда, — и мы с ним перегонялись, кто больше убьет, и я перегнал: он убил 18 человек, а я 23!»

Главную массу дел этой сессии составляли дела о разбоях. Все эти разбои были совершенно одинакового порядка и были

настолько цинично-скверными, что их даже не решались называть «экспроприациями». Обвиняемых было по большинству дел по 4-5 человек, и, характерно, все молодежь в возрасте 20-24 лет; все это были любители нетрудовой наживы, грубо-жадные, не признающие ничьего человеческого достоинства, хулиганы по всему своему нравственному складу, — типичный продукт разнузданности, освобожденной и обостренной революционным настроением времени. Вместе с тем это было сплоченное общество, — не фактическим соглашением на каждое отдельное преступление, а принципиальной общностью интересов и поддержкой преступной деятельности. За обнаруженными преступниками стояли другие необнаруженные и развивали в населении террор, имевший целью уничтожить сопротивляемость преступникам и мешать обнаружению виновных. Террор этот направлялся на свидетелей и жертв преступления. По одному делу, например, суд вызывает свидетелей, — оказывается, все свидетели по делу, давшие показания против обвиняемых, убиты. По другому делу спрашиваем свидетелей, — а затем узнаем, что эти свидетели, бывшие на суде и уличавшие так или иначе обвиняемых, также все убиты. Раз приходит к нам перед судебным заседанием вызванная судом потерпевшая от разбоя женщина со своею 14-ти-летней дочерью, и показывает письмо, которое она получила: в письме ей пишут, конечно, без подписей, что, если только она на суде не откажется от данных ею раньше показаний и от опознания обвиняемых, то с ней поступят так же, как с семьей Абрамовичей, где всю семью вырезали и дом сожгли; плачет, трясется вся бедная женщина и просит посоветовать, как ей поступить. Конечно, мы ей посоветовали отказаться на суде от прежних своих показаний, — и надо было видеть торжествующие физиономии подсудимых! торжествовали, конечно, напрасно, — все они были осуждены.

Печально было положение защиты по этим делам: сказать что-нибудь серьезное в пользу таких негодяев защита совершенно не могла, а защищать была обязана, ибо и она могла бы оказаться под угрозой и воздействием этих преступных шаек. Иногда прямо было видно, как неловко себя чувствует защитник, по совести ничего не видящий в деле в пользу своего подзащитного, и потому или голословно отвергающий несомненные факты, или проявляющий всю силу своего красноречия по поводу ничего не стоящих мелочей. Особенно излюбленным приемом защиты у подсудимых этой категории было установление своего *alibi*, т.е. установление, с помощью вызванных ими свидетелей, что они никак не могли совершить данного преступления, так как как раз в это время находились совершенно в другом месте. Конечно, может быть такой случай, когда будет привлечено к судебной ответственности, по ошибке, лицо, которое фактически даже и не было на месте совершения преступления, но вопрос о такого рода ошибке всегда будет поднят при самом начале судебного расследования, да и такие случаи ошибки, конечно, редкость. А тут на суде было так: проходит у Вас перед глазами подряд 5-6 дел о разбоях, с 4-5 обвиняемыми в каждом деле, — и оказывается, что все до единого привлечены совершенно невинно, ибо ни один из них даже и не был на месте преступления! И характерно, что эти свидетели *alibi* никогда не были выставляемы на предварительном следствии, а только вызывались на суд. А еще, пожалуй, характернее были самые приемы таких показаний: введут, бывало, такого свидетеля-алибииста, — и еще не успеет председатель спросить об его имени и напомнить ему о необходимости показывать правду, как свидетель уже говорит: «Я могу показать, что такой-то совершенно невиновен, ибо во время совершения этого преступления он находился со мной там-то и там-то.» Сам собою

возникал вопрос, откуда этот свидетель, раньше никогда не допрашивавшийся, знает, зачем его вызвал суд и что ему надо показать на суде. Подсудимым, видимо, такие алиби доставляли большое удовлетворение, — других доказательств невиновности у них не было, — но бедные защитники, которым приходилось, в угоду подсудимым, пользоваться и еще как бы серьезно останавливаться на такого рода доказательствах невиновности.

Впрочем, был со мною раз случай, когда и я сначала было поверил такому алибисту. Рассматривалось дело о такой же разбойничьей шайке в 5-6 человек, но по делу еще был привлечен в качестве укрывателя местный портной, Ицко Л-ин, человек лет 35 - 37, хромой. Он клялся и божился, что он, честный еврей, совершенно непричастен к этому делу: «да что я, старый человек, буду иметь общего с этими мальчишками? — я знаю свое дело, я больной человек, да я из них никого и в глаза не видел!» Явился и свидетель со стороны этого Л-ина, почтенный еврей лет 50-ти, и удостоверяет: «Ицку Л-ина я давно знаю, он честный портной и ни в каких таких делах не замешан. Последний год до совершения этого преступления Ицко Л-ин жил у меня на квартире, я его каждый день видел, и могу сказать, что кроме заказчиков никто к нему не приходил, и что из этих обвиняемых у него никто никогда не был, да и сам он почти никуда из дому не выходил». Я задумался: показывает человек почтенный, да еще после принятой присяги, которой обещался показать всю правду по делу, — и, как значилось тогда в тексте еврейской присяги, «не по иному, скрытому во мне смыслу, а по смыслу и ведению приводящих меня к присяге». — «Что же», думаю, «может быть, и в самом деле, напрасно оговорили Ицку?» — хотя, странно, по делу улики против него не маленькие. Затем выходит другой, вызванный им же свидетель, еще более почтенный, лет 60-ти. Что же, думаю, он скажет в защиту Л-ина?

— И, представьте, этот свидетель тоже буквально повторяет, что говорил и предыдущий: «этого Л-ина я отлично знаю... Он честный портной... Он до совершения этого преступления жил у меня на квартире 10 месяцев и я могу удостоверить, что ни один из этих обвиняемых молодых людей к нему никогда не приходил, и сам он никуда не выходил из дому». Спрашиваю его: «Скажите, Вы вместе живете с таким-то?» — т.е. с предыдущим свидетелем. — «Нет», говорит, «я его даже не знаю.» Алиби действительно получалось блестящее: Ицко Л-ин оказался жившим за время до совершения преступления одновременно в двух разных местах, — в одном жил год, в другом 10 месяцев, — и при этом никуда ни с одной, ни с другой квартиры не выходил! Перестарались гг. свидетели! А ведь понятно, почему: подсудимый, вероятно, не рассчитывал, что они оба явятся, и предполагался один на случай отсутствия другого, а они добросовестно явились оба. Излишества, оказывается, и в защите вредны. Дела для Ицки кончилось благополучно: его суд признал виновным только в недонесении о совершенном преступлении и приговорил на 3 года в исправительные арестантские отделения. Первый раз видел я такую радость при объявлении все же осуждающего приговора: Л-ин, который так плакался, что он ровно ничего не знает по этому делу, стал просить суд, что, так как он приговором вполне доволен, и жалобы подавать не будет, то нельзя ли приговор сейчас же привести в исполнение.

Кроме дел о разбоях значительную часть и здесь занимали дела о вымогательствах, — в сущности, это ведь дела одного порядка, подсказываемые одними и теми же побуждениями. И личности обвиняемых, и характер доказательств ничего нового не давали. Бывали, конечно, и оправдательные приговоры, — в общем, в практике военного суда как-то уже установилось, что около трети обвиняемых оправдывается, но в данной серии дел оправданий было меньше, — уже очень несомненны были улики

и слишком уже ярко были освещены личности подсудимых их преступлениями.

Приблизительно со второй половины сессии началось рассмотрение дел о политических выступлениях, — именно дел о железнодорожных забастовках в декабре 1905 года, связанных с вооруженными нападениями и сопротивлением чинам полиции и войска. Таких дел было три: о забастовке на ст. Пологи и Мечетная, о забастовке на ст. Синельниково, и о вооруженном захвате ст. Александровск. По первому делу было, кажется, 7 или 8 обвиняемых, по второму 15, по третьему 80. В общем, схема преступлений была одинакова: сначала революционная пропаганда, затем остановка работ мастерских и остановка движения поездов, прекращение работы телеграфа, захват станционных сооружений, насильственное устранение администрации, избивание жандармов, вооруженное сопротивление им и т.д. Главные участники — рабочие депо и мелкие станционные служащие, но попадают и агитаторы из пришлого элемента; по Александровскому делу состав обвиняемых значительно шире и разнообразнее.

Ничего особенно характерного первые два дела не дали. Прошли перед нами одурманенные революционным угаром лица, в обстановке самого преступления давшие волю своим грубым инстинктам, иногда доходившие до жестокости, а теперь, уличенные, пытающиеся отклонить от себя кару закона. Свидетели явно делились на две группы: одни, — главным образом, лица, непричастные к железнодорожному миру, и железнодорожные жандармы, — давали всю картину, происшествий и, к чести их надо сказать, их показания были в высшей степени объективны; с удовольствием можно было отметить такую объективность со стороны жандармских унтер-офицеров, которых при самой революции всячески поносили, которые подвергались постоянному риску быть убитыми или избитыми, — сына

одного из них, 8-милетнего мальчика, революционеры выбросили из железнодорожной больницы за то, что он сын жандарма, — и которые сумели отбросить эти лично пережитые оскорбления и опасности и быть осторожными в каждом своем слове на суде, чтобы не создать преувеличений, не усилить виновности того или другого из обвиняемых, а с другой стороны не проявили и страха перед местью, которая могла их ожидать за сообщаемые ими данные по возвращении их на места.

Интересны были некоторые свидетели защиты. По первому делу, о забастовке на ст. Пологи и Мечетная, явился свидетелем со стороны защиты инженер Z., кажется, начальник дистанции. На допросе он заявил, что хочет рассказать, как, собственно, все произошло, и заявил, что забастовки на ст. Пологи и Мечетная не было, — это маленькие станции, которые поездов не отправляли, — а бастовала ст. Синельниково, которая не пускала поездов. Казалось, говорит человек с положением, очень уже не молодой, — но факты не вязались с его заявлением, суд факт забастовки на этих станциях признал установленным, и заявление этого инженера пришлось считать попыткой смягчить участь подсудимых. На втором деле, о забастовке на ст. Синельниково, к удивлению моему, этот же инженер Z. снова оказывается в числе свидетелей защиты. Помня его показание по предыдущему делу, я думал, что же он теперь покажет, — ведь он же, свидетель защиты, должен будет утверждать факт забастовки во вред обвиняемым, — но дело оказалось проще: насколько не смущаясь, этот свидетель заявил: «На станции Синельниково забастовки не было, — это со ст. Пологи и Мечетная не пропускали поездов, и потому, естественно, ст. Синельниково оставалась бездеятельной.» Я положительно вскипел: «Да как же, свидетель, ведь Вы на прошлом деле показывали совершенно противоположное! Вы говорили так-то!» — «Нет», отвечал он невозмутимо, «я и тогда показывал то же самое.» И ведь

оба раза свидетель давал свои показания под присягой! Затем было оригинальное показание одной телеграфистки. Спрашиваю ее насчет забастовки телеграфа. Она делает удивленное лицо и говорит: «Нет, наш телеграф не бастовал, — но никто как-то не подавал телеграмм.» Это была уже наивность свыше меры. «Скажите, пожалуйста», спросил я ее, «вероятно у Вас и поезда потому не ходили, что никто ездить не хотел?» — Смертной казни, конечно, ни по одному из этих дел не было, около трети обвиняемых, было оправдано. Значительное число главных виновных успело заблаговременно скрыться.

Самым большим, самым интересным и самым ответственным делом этой сессии было дело о вооруженном захвате ст. Александровск. По существу своему оно было близко к двум предыдущим делам, но было более серьезно по напряженности революционной атмосферы и по интенсивности борьбы, — захват этот был ликвидирован лишь после двухдневного боя войск с революционной массой, причем с обеих сторон было довольно много убитых и раненых. Обвиняемых по делу было привлечено более 120 человек, но часть успела скрыться и к моменту суда налицо было 80 обвиняемых, содержавшихся под стражей; в числе их было, кажется, 4 инженера. По делу вызывалось около 400 свидетелей. Рассмотрение дела предполагалось дней на 10-12, с тем, чтобы заседание начиналось в 10 ч. утра и велось до 9-10 ч. вечера.

Как раз перед началом этого дела произошел такой случай: после дела о забастовке на ст. Онельниково, мы рассмотрели одно небольшое по существу дело о 4 лицах, обвиняемых в убийстве или в разбое с убийством. Они были присуждены к смертной казни. На следующий день их к 10 ч. утра должны были привести из тюрьмы в суд для объявления приговора в окончательной форме. В 10 ч. утра их нет, в 11 — нет, и только около 11½ ч. узнаем, что, когда их вели конвойные, конвойных

окружила толпа человек в 30 и расстреляла, — двое из них были буквально изрешечены пулями, — и освободила арестованных, которые, конечно, и бежали.

На следующий день после этого, начиналось Александровское дело. Этот случай с расстрелом конвойных был очень показателен: сопровождавшиеся ими арестованные, по личности своей, не представляли какого-либо особенного интереса, были обычные уголовные типы, — однако, для их освобождения была составлена целая организация, которая рискнула сделать нападение днем, правда, на окраине города, но все же на глазах довольно большой публики. Это очень пришлось учесть и по Александровскому делу: здесь в числе обвиняемых были лица, в освобождении которых были, несомненно, заинтересованы революционные круги, и имелись уже заранее сведения, что предполагается попытка к их освобождению; затем, всех этих 80 арестованных приходилось водить в суд в течение ряда дней через весь город и уводить обратно уже поздним вечером, что, конечно, могло облегчить освобождение. Поэтому к делу их охраны и сопровождения были призваны и общая полиция, и конная полиция, и полурота солдат, причем, в виду сведений о несколько сомнительном настроении некоторых рот, для этой охраны были выбраны две роты, которые и чередовались. Настроение, все же, было довольно напряженное, но его очень энергично разрешил один из ротных командиров. В первый же день, когда приходилось его роте сопровождать арестованных, он, на глазах арестованных, построив полуроту, подал команду: «на первый-второй рассчитайся!» — это была обычная команда для построений, — а затем громко сказал солдатам: «Помните, что делать, в случае нападения, первым номерам, а что вторым!», и после этого поставил полуроту на место к арестованным и приказал их вести. Арестованные по дороге спросили

солдат, что именно приказано делать первым, а что вторым номерам; те ответили: «первым стрелять по нападающим, а вторым по вам, чтобы не разбежались.» В тот же день была перехвачена записка арестованных, где они писали, что узнали, что есть такое распоряжение, и что поэтому просят отказаться от мысли их освободить, так как это было бы «безумием». Никаких попыток к освобождению их, действительно, не последовало, все сопровождение их в суд и обратно за все дни прошло без всяких инцидентов.

На суд явились все 80 обвиняемых. Их защищало 12 адвокатов. Проверка свидетелей и чтение обвинительного акта заняло целый день. Никто из обвиняемых себя виновным в предъявленном обвинении не признал и большинство из них усвоило систему полного молчания. Так как суду было важно установить не только общую картину событий, но и улики и данные против каждого отдельного обвиняемого, та процесс шел очень медленным темпом, от свидетелей требовалась особая точность их показаний, каждую отдельную улику приходилось оценивать по ее достоверности и значению в отношении каждого из 30 обвиняемых. Особенно было трудно свидетелям в тех случаях, когда они сравнительно мало знали обвиняемого, о котором говорят, — им приходилось узнавать таких лиц из всей массы арестованных, а это было делом очень нелегким, так как с момента преступления прошел уже год. Свидетели, как и в двух предыдущих делах, распались на две группы: одни, не связанные ничем с обвиняемыми, старались установить объективную истину, другие, связанные с тем или другим обвиняемым, говорили только о нем, в его пользу. Были, впрочем, и просто малодушные: видно было, что он просто правды сказать не хочет, так как боится неприятных для себя последствий, — такие свидетели замалчивали даже такие факты, которые, очевидно, нельзя было и скрыть.

Исключительно благоприятное впечатление произвело показание свидетеля инженера француза, кажется, г-на Кордые: чувствовалось, что он со всем своим вниманием взвешивает точность каждого своего слова, стараясь дать суду только безусловную истину. Если ему приходилось делать ссылку на кого-либо из обвиняемых, он с чрезвычайной осторожностью сообщал факты, именно к нему относящиеся, и если ему приходилось опознавать тех, о ком говорит, то делал это с такою тщательностью, что в самом факте опознания уже не оставалось никакого сомнения. Между прочим, эту исключительную осторожность и добросовестность свидетеля захотел использовать один из обвиняемых, М-енко. Г. Кордые сообщал факты, резко говорившие против него. М-енко сидел в 4-5 ряду обвиняемых, резко выделяясь из других своими черными очками. Когда г. Кордые было предложено председателем, может ли он указать среди обвиняемых этого М-енко, о котором он говорит, г. Кордые, внимательно взглядевшись в подсудимых, сказал, что он здесь узнать М-енко не может. Неожиданно поднимается М-енко и заявляет: «Г-н председатель, прошу обратить внимание, что свидетель, который так много говорил о моей виновности, не узнал меня в лицо; очевидно, он ошибается, и то, что он говорил, ко мне не относится» — Председатель тогда предложил М-енко снять очки. «А, теперь его узнаю», заявил г. Кордые, «в очках я его не узнал, так как он тогда очков не носил.» М-енко и сам, очевидно, почувствовал, что после этого ему излишне было бы уверять кого-либо в своей невиновности.

В общем процесс кончился так: я отказался от обвинения 11 подсудимых, суд, кроме того, еще не признал виновности пяти, а остальные 64 были признаны виновными. Смертной казни никому не было.

По объявлении приговора в окончательной форме произошел оригинальный случай: мне солдат докладывает, что меня

желает видеть такой-то, оправданный по этому делу. Наш секретарь меня уговаривает: «Не ходите, еще убьет!» Я пошел и вижу перед собой этого оправданного в парадном костюме, в черном сюртуке с белым галстуком. Он говорит, что вот суд его оправдал, но ему очень неприятно, что я не верю в его невиновность. Я ему откровенно сказал, что я лично и до сих пор не переменил своего мнения, что, если бы я считал его невиновным, то отказался бы от его обвинения, но что он может считать себя вполне удовлетворенным, раз суд признал его невиновным. Что значил этот приход? Действительно ли его мучило, что я не верю в его невиновность, или ему, уже оправданному, но виновному, хотелось испытать щекочущее чувство своей безопасности в месте, где ему грозила опасность быть осужденным?

По окончании сессии в Екатеринославе я возвратился в Одессу и с того времени моя дальнейшая деятельность по военно-судебному ведомству, — до перехода в конце 1911 года в военно-учебное ведомство, — протекала в Одессе и командировок в сессии я не имел, так как на меня, помимо прямых обязанностей по должности помощника военного прокурора, было возложено заведывание следственной частью, т.е. учетом и контролем дел, поступающих к военным следователям Одесского военного округа, что требовало постоянного нахождения в месте расположения суда.

Не могу не вспомнить, с чувством глубокого уважения, светлого облика вновь назначенного к тому времени прокурора Одесского военно-окружного суда генерала Сергея Иосифовича Калишевского. Это был человек исключительного духовного благородства, с глубоким пониманием задач судебного дела и ответственности своей должности, отдавший этому делу все свои силы, и человек неизменно обаятельный в личных отношениях. К сожалению, совместная работа с ним продолжалась недолго. Чрезмерное напряжение, вызванное подавляющим

количеством дел, поступающих в наш военно-прокурорский надзор, в разрешении которых он принимал равное с нами, его помощниками, участие, напряжение, доходившее до того, что он нередко работал целые ночи, в связи с его исключительно чутким восприятием всех тех острых переживаний, которые неизбежно были связаны с судебной работой этого тяжелого периода, совершенно подорвали его силы. По совету врачей он начал гидропатическое лечение, но, очевидно, для него, с его резко подорванной нервной и сердечной системой, это лечение такими сильными средствами, как переменное обливание горячей и холодной водой, влажное укутывание, оказалось губительным: у него развилось острое душевное заболевание и приблизительно через год он умер. Светлая память о нем всегда будет жить в сердцах тех, кто хоть сколько-нибудь знал его.

Из ряда дел, по которым мне, в бытность мою в Одессе до конца 1911 г., приходилось давать заключения, или составлять обвинительные акты и выступать в судебных заседаниях в качестве прокурора, я остановлюсь только на некоторых, наиболее интересных.

Одно из дел давало характерную картину того, как хаотично-смутна была обстановка, с которой приходилось сталкиваться судебным властям при обследовании преступлений. В праздничный день, в самый разгар гулянья, в 3 часа дня, в Амуре, предместье Екатеринослава, на главной улице, была тяжело ранена выстрелами из револьверов одна из местных жительниц, молодая девушка. Ее немедленно отвезли в больницу. Бывший тут же на гулянье местный судебный следователь прибыл вслед за нею и, после произведенной ей операции, приступил к ее допросу. Она заявила, что в нее стреляли два молодых еврея, которых она хорошо знает, из мести за то, что она была в близких отношениях с жандармским вахмистром и, предполагалось, давала ему некоторые сведения о местных преступных

элементах, — но имени этих двоих она сказать не пожелала, заявив, что скажет только тогда, если выздоровеет. Трудно было чем-нибудь объяснить это последнее ее заявление. Чтобы узнать истину, к ней послали этого ее знакомого жандармского вахмистра, но и ему она ничего больше не сказала, упорно заявляя, что имена убийц назовет только когда выздоровеет. Состояние ее, однако, становилось все хуже и хуже, и в 1 ч. ночи она попросила снова приехать следователя. Когда он прибыл, она была уже очень слаба, и тут она заявила, что ее убили Пан-ов и Р-ув, два русских парня, — и больше ничего не сказала, впала в забытие и умерла. Долго и старательно бился судебный следователь, чтобы выяснить истину, опрашивал ее знакомых, родных, лиц, бывших свидетелями происшествия, — никто ничего не дал для обнаружения виновных. Следователь привлек в качестве обвиняемых Пан-ова и Р-уева, но никаких данных к установлению их виновности ему добыть не удалось, — оставалось только одно предсмертное заявление убитой. Я не считал возможным привлекать их к суду на основании одного этого ее заявления, данного в предсмертной агонии и противоречащего первым ее заявлениям, и дал заключение о прекращении дела.

Очень интересным делом являлось нашумевшее на всю Россию дело о покушении Тамары Принц на убийство Командующего войсками Одесского военного округа генерала барона Каульбарса. Тамара Принц была по институту подругой дочерей барона Каульбарса и была хорошо принята в их доме. Это обстоятельство было учтено революционной партией и на Тамару Принц, входившую к тому времени в революционную организацию, было, — кажется «северным боевым отрядом партии социалистов-революционеров», — возложено поручение убить генерала, очевидно, как видного представителя власти. С этой целью Тамара Принц была командирована в Одессу, но под постоянным наблюдением одного из членов той же партии, который

должен был следить, чтобы она выполнила свое поручение. Прибыли они оба в Одессу, по-видимому, 20 мая 1906 года, — по крайней мере, утром в этот день поселились в «Петербургской гостинице», рядом с дворцом Командующего войсками, где и были прописаны она под своим именем, а ее спутник под фамилией Голубева. В течение последующих дней Тамара Принц была раза 2-3 в семье генерала Каульбарса. День 26 мая был, очевидно, назначен для совершения убийства. Часов около 12 дня Тамара Принц вышла из гостиницы с маленьким саквояжем в руках, в котором была бомба, но тут же при выходе или уронила или бросила этот саквояж, бомба взорвалась, а Тамара Принц вбежала в свой номер и застрелилась. Спутник ее Голубев немедленно скрылся из гостиницы. Естественно, весь интерес дела сосредоточился на разыскании этого Голубева. Дело вел судебный следователь по особо важным делам, при деятельном, конечно, содействии общей и жандармской полиции и охранного отделения, но в течение целого полугода следствие не привело ни к чему. Наконец, в ноябре месяце, в одном из домов Театрального переулка, был арестован молодой человек по фамилии Ши-рев, и как-то сразу на нем сосредоточилось все внимание следственных и полицейских властей, — в нем был заподозрен скрывшийся Голубев. Началось предъявление его свидетелям, осмотр и экспертиза переписки, — и в результате Ши-рев, — именно в предположении, что он и есть скрывшийся Голубев, — был привлечен в качестве обвиняемого в принадлежности к партии социалистов-революционеров и в приготвлении к убийству генерала Каульбарса. Дело было направлено к военной подсудности и поступило на заключение ко мне.

Ближайшее знакомство с материалом показало следующее: Ши-рев, безусловно, принадлежал к разряду людей с революционным уклоном мысли, но никаких данных ни о принадлежности его вообще к партии социалистов-революционеров,

ни, в частности, к «северному боевому отряду» этой партии, не было установлено. Единственный намек на принадлежность к «северному отряду» мог заключаться в том, что он, до переезда в Одессу, жил в Петербурге, но и петербургские следственные и жандармские власти никаких данных о принадлежности его к революционной партии не имели. Данные опознания, при предъявлении его свидетелям, служащим Петербургской гостиницы, были отрицательны: две горничные, правда, его очень характерно «опознали»: одна сказала, что у него руки и сам он со спины похож на Голубева, но лицом не похож, другая заявила, что он и лицом похож, но Голубев был выше его ростом. Такие «опознания», конечно, ничего не давали. Большой интерес возбудил на следствии еще один факт: в вещах Голубева было найдено письмо с датой 19 мая, из Петербурга, которое было получено Голубевым в Одессе, в Петербургской гостинице, 22-23 мая; в содержании письма не было ничего, относящегося к покушению на убийство генерала Каульбарса, но почерк письма местные эксперты признали тождественным с почерком Ши-рева.

Ши-рев на следствии, конечно, отрицал свою какую-либо причастность к делу. По его показаниям, он до половины мая служил в Петербурге на одной фабрике, но в половине мая взял расчет, затем еще с месяц оставался без дела в Петербурге и только в середине июня приехал в Одессу, где надеялся, при помощи знакомых, найти работу; этих знакомых он указать, однако, не мог, а равным образом он не мог объяснить, на какие средства он жил в Одессе. Таким образом, показания его заставляли отнестись к ним с известным сомнением. Правда, объяснение его, что он прибыл в Одессу в половине июня, подтверждалось пропиской его на паспорте, но это еще не исключало возможности, что он и до того несколько времени жил без прописки. Равным образом, можно было не верить и его заявлению,

что он, по получении расчета на фабрике, еще с месяц проживал в Петербурге. Однако, для обоснования обвинения нельзя было остановиться на одном отрицательном отношении к его заявлениям, — надо было установить несомненно возможность его тождества с т.н. Голубевым, а для этого, конечно, прежде всего надо было выяснить, мог ли он быть в Одессе утром 20 мая, т.е. именно тогда, когда прибыл в «Петербургскую гостиницу» Голубев. Если предположить, что Голубев, т.е. в данном случае Ши-рев, приехал в гостиницу прямо с вокзала, что он ехал из Петербурга курьерским поездом, — и то и другое было вполне естественно, — то, при существовавшем тогда железнодорожном расписании, он должен был бы выехать из Петербурга в 8 часов вечера 18-го мая. Этот вопрос, — мог ли Ши-рев выехать из Петербурга в 8 часов вечера 18-го мая, — надо было разрешить несомненно, и единственно твердой датой для этого могло быть только время получения Ши-ревым расчета на фабрике. Сам Ши-рев точно дня получения расчета установить не мог, говорил только, что «в середине мая» (т. е., значит, могло быть и 15-е и 16-е мая), но в найденной у него при обыске расчетной фабричной книжке было обозначено, что он получил расчет 19-го мая. Если эту дату признать точной, то надо было признать, что Ши-рев не может быть Голубевым, ибо он, в таком случае, не мог бы выехать из Петербурга вечером 18-го. Но если эта дата ошибочна всего хотя бы на один день, т.е. если он получил расчет 18-го, то ведь можно предположить, что того же 18-го мая вечером он мог выехать из Петербурга, и тогда утром 20-го мая мог быть в Одессе, и, значит, мог быть Голубевым. Естественно, что на этот вопрос и обратилось все внимание следственных властей; произведенное, по их требованию, в Петербурге расследование установило, что данные расчетной книжки совершенно точны, что Ши-рев получил расчет именно 19 мая, т. е., что еще 19 мая он был в Петербурге, а некоторые из

свидетелей, знавших его на фабрике, показали, что видели его и в ближайшие следующие дни. Таким образом, и при всем отрицательном и подозрительном отношении к показаниям самого Ши-рева, по данным уже документального характера нельзя было не признать, что Ши-рев не мог выехать из Петербурга раньше 19-го мая, что он, таким образом, не мог быть в Одессе утром 20-го мая, и, следовательно, он не мог быть Голубевым.

Оставалась другая улика, — признанное экспертами тождество почерка письма, найденного у Голубева, с почерком Ши-рева, — т.е., другими словами, предположение, что это письмо писано Ши-ревым. Видимо, следственная власть одно время считала, что эта улика также указывает на тождество Ши-рева с Голубевым, — но, очевидно так ее оценивать не было никакой возможности: ведь если предположить, что Ши-рев и есть Голубев, и что письмо, найденное у Голубева, было писано Ши-ревым, то это значит признать, что он писал это письмо сам себе, — какой же был бы смысл в такой мистификации? Но можно было, теоретически, допустить другое предположение: Ши-рев не Голубев, а если он писал это письмо Голубеву, то, значит, у него была с Голубевым какая-то связь, т.е. что он мог быть так или иначе причастен и к партии социалистов-революционеров и, в частности, и к покушению на генерала Каульбарса. Тут могло бы и не иметь значения то, что в этом письме нет ничего, относящегося к делу покушения на генерала Каульбарса, — в письме могла быть вложена и другая какая-нибудь записка, имеющая отношение к делу, которая была Голубевым уничтожена, да, наконец, и письмо это следовало, может быть, известным образом расшифровать и тогда оно могло получить иной смысл и значение. Однако, для меня лично такое предположение, что Ши-рев был автором этого письма, являлось логически

мало приемлемым: ведь для этого надо было допустить совершенно исключительное совпадение фактов: ищут Голубева, находят человека, который подозревается в том, что он Голубев, а оказывается, это это не Голубев, а знакомый Голубева, писавший ему письмо. В виду этого я усомнился в правильности заключения экспертов и решил подвергнуть осмотру самое письмо, хранившееся при деле в особом конверте; в сравнении почерков приняли участие и другие чины военно-прокурорского надзора, и безусловно было признано, что эксперты поторопились с своим заключением, почерки были безусловно нетождественны.

Таким образом, естественно, определилось прекращение дела в отношении Ши-рева, и в этом смысле я и дал заключение, и так как в это время я исполнял обязанности военного прокурора, то это заключение я целиком взял на свою ответственность. Генерал-губернатор с этим заключением согласился и дело было прекращено. Однако, упреки мне за прекращение этого дела были: «политиканствующие» говорили мне, что я поступил неосторожно, что по такому делу, как покушение на убийство Командующего войсками, мне лучше было бы не брать на свою ответственность прекращение дела, а надо было бы внести дело в суд с обвинительным актом и пусть бы уже суд оправдывал Ши-рева. Им я ответил так: «Я слишком высоко ставлю судебное дело во всех его отдельных моментах, чтобы позволить себе когда-либо шалить с оценкой судебного материала в зависимости от каких-либо посторонних соображений; я сам считаю Ши-рева человеком с революционным уклоном мысли, считаю, что он внушает большие подозрения в чистоте его деятельности, но это уже дело полицейских и жандармских властей взять его в этом смысле на учет, — а судебная власть

никогда, никому, ни в каком случае не может приписывать обвинений, которые или совершенно ничем не доказаны или совершенно опровергнуты.»

Очень интересным по своей обстановке и очень характерным для настроений Одесского населения того времени явилось дело «об истязании Мельникова». К сожалению, не помню точно датума самого происшествия, — кажется, это было в мае 1907 года. Около 1 часа ночи проходивший мимо Александровского парка солдат пограничной стражи услышал крик, несшийся из глубины парка, от моря. На этот крик залаяла собака. Солдат стал кричать и на его голос из глубины парка появился молодой человек, лет 22-23, совершенно голый, прикрытый только простыней, с веревкой на шее; все его тело было изодрано, исцарапано, следы крови были и на простыне, и на той же простыне бумажными буквами была вышита надпись: «За преданность кровопийце барону Каульбарсу. Боевой отряд. партии социалистов-революционеров». Молодой человек весь трясся и был в состоянии почти ненормальном. Это был Мельников. С помощью солдата и прибежавшего постового городского, Мельников был доставлен в военный госпиталь. При осмотре его на нем было обнаружено, кажется, 148 царапин на шее, на руках, на ногах, а главным образом на груди и на спине; царапины были в разных направлениях, длиною до 4-5 вершков, с рваными краями; вид царапин ясно указывал, что они сделаны каким-то обрывком железа или жести с неровными краями. Мельников сначала был в таком состоянии, что не мог ничего объяснить. Придя в себя, он рассказал следующее. Он — член Союза русского народа. Часов около 7 вечера в этот день он пошел прогуляться на берег моря к Ланжерону. Здесь к нему подошли три молодых человека, закурили папиросы, предложили выпить с ними пива, а затем предложили прокатиться в

лодке по морю. Поехали они по направлению к Малому фонтану. За Малым фонтаном лодка пристала к берегу и Мельникову бывшие с ним молодые люди пригрозили, что, если он будет кричать, то его убьют, затем завязали ему глаза и повели куда-то по каменистой дороге; шли минут 10; затем остановили его, но велели повязки не снимать. Так прошло, может быть, час. Наконец, ему сняли повязку и он увидел себя не то в каком-то старом подвале, не то в пещере, слабо освещенной, и вокруг себя увидел семь человек, среди которых была одна женщина, похожая на еврейку, лет 25-26; остальные были тоже молодые люди и тоже, по-видимому, евреи. Ему приказали раздеться, объявили ему, что на нем отомстят Союзу русского народа за его противодействие социалистам-революционерам, и стали царапать ему тело какими-то кусками жести или железа. Скоро ют боли и от испуга он потерял сознание и пришел в себя только тогда, когда снова ехали в лодке: ему было холодно, все тело у него болело, он был голый, только прикрыт пальто. Лодка причалила к берегу около Александровского сада. Его вывели и повели в гору. Затем с него сняли пальто, накинули простыню и надели на шею веревку. Он понял, что его хотят повесить, и стал кричать. На крик его кто-то отозвался, привезшие его люди разбежались, и он побежал туда, откуда слышался голос. Никого из истязавших его он до того времени не знал.

Дело это было передано в производство судебному следователю по особо важным делам г. Александрову. В Одесском обществе это происшествие породило живейшие толки и скоро обозначилось два совершенно определенных течения. Одни были уверены, что это безобразная, жестокая, грубая выходка революционеров, мстивших за свои неудачи Союзу русского народа, часто становившемуся им на дороге, и в тоже время своего рода террористический акт по отношению к генералу Кауль-

барсу, Командующему войсками Округа, за то, что он, по характеру своих обязанностей, направлял дела о революционных выступлениях, об убийствах и т.д. к военной подсудности и утверждал приговоры военно-окружного и военно-полевых судов, по которым подсудимые приговаривались к смертной казни. Другие, наоборот, с горячностью доказывали, что здесь никакого истязания не было, что все это происшествие инсценировано и является «провокацией» Союза русского народа по отношению к своим политическим противникам революционерам; нашлись даже и свидетели в этом смысле, например, один из бывших товарищей Мельникова по школе даже «припоминал, что как раз в самый день истязания Мельников заходил к нему и искал у него на дворе какого-нибудь куска железа. Мельников подвергался неоднократным допросам, ему несколько раз предъявлялись некоторые задержанные личности, на которых падало подозрение в участии в этом истязании, но Мельников не признавал в них виновных. Наконец, была задержана некая Мария К-ская, и в ней Мельников, хотя и не без колебаний, признал ту женщину, которая находилась при его истязании. Эта Мария К-ская, — по документам русская, но по внешнему облику похожая на еврейку, — виновной себя не признала и в оправдание свое заявила, что она во время данного происшествия даже и не была, в Одессе; точно указать, где она была в день этого происшествия и в ближайшие дни, она не может, так как она месяца два за это время не имела постоянного жительства, а шла пешком из своего родного города Курской губернии в Одессу; она назвала ряд городов, через которые, будто бы, она проходила, но заявила, что она нигде подолгу не останавливалась и никого из знакомых при этом путешествии не встречала. Затем был задержан по подозрению еще один молодой еврей, лет 24-25, фамилии его не помню; он также виновным себя не признал и Мельников, хотя и опознавал его, но еще с большей

осторожностью, чем К-скую. Оба эти лица были привлечены к следствию в качестве обвиняемых.

С этого момента дело еще больше оживилось и раньше высказывавшиеся два мнения о сущности этого дела стали еще резче проявляться. К сожалению, одно время и следственная власть поддалась известной тенденции. Пока вел следствие г. Александров, оно велось совершенно объективно, а затем, когда, за его отсутствием, дело переходило в руки другого следователя, ясно было видно, что он сторонник мнения о «провокации» и это сказалось даже в записи им показаний. Например, одно их показаний Мельникова, при предъявлении ему Марии К-ской, этот следователь записал так: «в этой женщине небольшого роста, русской, блондинке, я признаю ту женщину среднего роста, еврейку, брюнетку, которая... и т.д.». Всякому ясно, что это не были слова Мельникова, да и материал для такой записи взят несерьезно: понятия «небольшого» и «среднего» роста — понятия малоразличимые, К-ская не была вовсе блондинкой, а темной шатенкой, и по типу она безусловно не была русской, очень походила на еврейку. Вообще, по моему мнению, требовать от обыкновенного человека детального описания черт лица и внешнего вида кого-либо, даже и при условиях спокойного наблюдения, совершенно, невозможно, — детальное описание могут дать только люди, привыкшие изучать человеческие лица, например, психиатры, художники, — и уже никак нельзя было требовать точности описаний от Мельникова, человека небольшого развития, и притом еще находившегося, за время истязания, в состоянии, несомненно, исключительного нервного возбуждения.

Наконец, следствие было окончено и дело, — с обвинением Марии К-ской и другого привлеченного в истязании Мельникова, — было, в особом порядке, изъято из гражданской подсуд-

ности и передано к военной подсудности и поступило на заключение ко мне. Характерно, что судебные власти даже не поставили обвиняемым обвинения в принадлежности к революционному сообществу, что было бы вполне естественно, ибо предполагалось истязание в виде мести определенной партии и, конечно, истязатели должны были бы принадлежать к этой партии. Еще до тех пор, пока я успел изучить дело, мне пришлось выдержать опять же натиск «политиканствующих». Те же самые, которые упрекали меня в неосторожном прекращении дела о покушении на генерала Каульбарса, теперь спрашивали меня: «конечно, Вы дело прекратите? — ведь здесь же явная провокация Союза русского народа!» Я сказал, что еще с делом не разобрался, но что я очень поражен таким заявлением: ведь это дело, по которому предъявлено обвинение только в истязании, по характеру своему, совершенно не подлежало военной подсудности, и было изъято из гражданской подсудности лишь в особом порядке ходатайства; военный суд не может назначить по этому делу иного наказания, какое мог бы назначить и суд гражданского ведомства, — значит, основанием для ходатайства о передаче дела к военной подсудности могло быть только то, что оно, по свойству преступления, является настолько вопиющим, что желательнее самое энергичное рассмотрение дела по срокам военного времени. Но что же тогда значат заявления, что это провокация и что это дело надо прекратить? — ведь прекратить это дело могла и сама гражданская прокуратура!

Когда я затем ознакомился с делом, у меня сложилось совершенно определенное мнение: о провокации не может быть и речи, — налицо несомненно истязание; обстановка, может быть, несколько романтически прикрашена, но истязание, как факт, было; что же касается виновности именно двоих привлеченных, то здесь, думал я, возможны сомнения, так как вообще

на опознание, если оно только одно имеется в качестве доказательства, полагаться рискованно, а тем более в данном случае, имея в виду состояние Мельникова во время истязания, — в таком вопросе может разобраться только суд. Поэтому я дал заключение о внесении дела в суд с обвинительным актом, но при этом, в личном объяснении с прокурором и председателем суда, настаивал, чтобы на суд безусловно был вызван потерпевший Мельников, хотя он, из боязни дальнейшей мести, и был увезен довольно далеко от Одессы, в одно из местечек Кавказского побережья; я настаивал, что ограничиться прочтением его показаний, — хотя бы и при законности его неявки из-за дальности расстояния, — невозможно, что разобраться в деле можно только при личных его показаниях, оценивая их значение на основании общего впечатления от его личности. Затем, имея в виду, что по делу нельзя было ставить обвинение в одном истязании без обвинения привлеченных в принадлежности к тому революционному сообществу, от имени которого истязание производилось, я возбудил вопрос о предъявлении, обвиняемым дополнительного обвинения в принадлежности к партии социалистов-революционеров. Наконец, имея в виду, что дело получило исключительный интерес в обществе именно в том смысле, была ли здесь месть со стороны революционеров или провокация со стороны Союза русского народа, я настойчиво просил исходатайствовать разрешение Командующего войсками, чтобы это дело, в изъятие из общих правил, слушалось при открытых дверях и даже с приглашением на него видных представителей различных слоев одесского общества. Решив, таким образом, вопрос о направлении дела, я уже мог определенно высказать свое мнение «политиканствующим», сказал им, что пусть они придут в судебное заседание и, я надеюсь, они сами убедятся, что здесь чистое истязание, а не провокация.

Дело было назначено к слушанию: зал был полон, но Мельников не явился, прислав извещение, что он боится ехать в Одессу. Несмотря на формальную законность причины неявки, — далее 300 верст от места суда, — я, выдерживая свой взгляд, заявил, что не считаю возможным слушание дела в его отсутствие, и просил суд дело слушанием отложить и принять меры к безусловной явке Мельникова. Суд мое ходатайство удовлетворил, дело отложил и обратился к Командующему войсками с просьбой, чтобы он распорядился о предоставлении Мельникову всех возможных мер охраны, которые устранили бы опасность какого-либо над ним насилия. Просьба эта была исполнена Командующим войсками и ко дню вновь назначенного заседания суда Мельников явился, будучи доставлен на одном из военных кораблей. На меня лично он произвел впечатление даже лучшее, чем я ожидал, показания давал очень осторожно, совершенно не сгущая красок. Дело продолжалось слушанием два дня, при полном напряженном внимании публики. Между прочим, на суде еще ярче обнаружилась разница во взглядах на это дело; это личное убеждение в ту или иную сторону сказывалось в самых приемах, в самом тоне показаний свидетелей. Даже врач-эксперт, почтенный старый человек с видным положением, — которого я никак не хочу упрекать в сознательной неправильности экспертизы, — настолько психически подчинился мнению о провокации, что, хотя и не совсем решительно, но все же дал свое заключение в том смысле, что в данном случае никакого истязания не было, а что Мельников сам себя так порезал, и, в качестве основания такого своего мнения, сослался на то, что «порезы и царапины сделаны только в таких местах, где Мельников мог достать рукой». Только тогда, когда я его спросил, «а скажите, пожалуйста, г-н доктор, разве есть на теле человеческого хоть одна точка, где бы человек не мог до-

стать рукой?» — эксперт понял, что это, искусственно привившееся к его заключению, основание выбито у него из рук и что такая его экспертиза потеряла свою научную объективность. Ничего особенно нового судебное рассмотрение в дело не внесло, только, несомненно, показания Мельникова получили больше доверия, чем могли дать в их прочтении. В отношении опознания обвиняемых он также был осторожен и, подтверждая свои указания на обвиняемых, он допускал возможность и своей ошибки.

Судебное следствие было закончено. Начались речи сторон, — обвиняемых защищали три присяжных поверенных. Я в своей речи, с первых же слов, поставил вопрос так, что в данном случае широкие общественные круги заинтересованы, главным образом, вопросом о том, есть ли здесь истязание или провокация, и поэтому я считаю нужным дать на это, прежде всего, определенный ответ; такая постановка вопроса вполне согласуется с требованием закона, ибо в том случае, когда возникает сомнение, было ли совершено данное преступление и было ли оно деянием данных обвиняемых, суд должен ставить и разрешать эти вопросы отдельно. Перейдя к самому существу дела и к рассмотрению доказательств, я определенно заявил, что я не сомневаюсь в наличии здесь именно истязания, и свои доводы изложил в двояком порядке: сначала по прямому способу доказательств, а затем путем доказательств от противного, т.е. «предположим, что это была провокация, и тогда увидим, что мы дойдем до абсурдных положений». В отношении указаний на виновность подсудимых я привел весь имевшийся, против них материал и, между прочим, очень детально разобрал показания Марии К-ской относительно ее путешествия и указал суду на полную вымышленность этого повествования: я по карте указал, что она из всех названий городов, через которые, будто бы, она проходила, назвала только несколько городов своей

Курской губернии, о которых, естественно, знала понаслышке, но и то их указала не в том порядке, как могла бы их фактически проходить, если бы шла пешком на юг, а в беспорядке, то называя город к югу от ее родного города, то к северу, то к востоку, куда совсем ей путь и не лежал; заявление ее, что она прошла мимо Киева, не останавливаясь в нем, я объяснил тем, что она и не могла бы показать, что была в Киеве, ибо тогда сочла бы себя обязанной представить какое-либо указание на прописку свою в этом городе; заявление ее, что она не может указать никого, с кем за время этого путешествия встречалась, по моему мнению, было сделано затем, чтобы не допустить какой-либо проверки ее ссылок, которые, конечно, оказались бы неправильными. Все это давало мне полное основание утверждать, что весь этот ее рассказ является выдуманным, и что этой выдумкой она старается увести суд в сторону от возможности точно установить, где она именно за этот период находилась, а это и указывает на причастность ее к этому делу.

По окончании моей речи начались речи защитников. Естественно, и им пришлось следовать установленному мною порядку, т.е. ответить прежде всего на ту часть моей речи, которая касалась вопроса, есть ли здесь наличность преступления, т.е. другими словами, было ли здесь действительно истязание, или провокация. К полному моему удовлетворению, защита сочла себя, по данным дела, определенно вынужденной признать, что и она факт истязания считает установленным, — это признание защиты, сделанное перед полным залом представителей местного общества, явилось лучшим ответом для тех, кто говорил о провокации, — и затем защита перешла собственно к изложению своих соображений о невинности привлеченных подсудимых. Суд, в своем приговоре, признал факт истязания, но обоих подсудимых оправдал, найдя имевшиеся против них улики недостаточными. Факт оправдания подсудимых сначала

был истолкован некоторыми из присутствующих неправильно, и один из видных членов общества, захлебываясь, стал говорить кому-то по телефону: «оправдали! оправдали! признали провокацию!». Я ему сказал об его заблуждении, напомнил, что и защита уже бросила всякую попытку говорить о провокации, — но он был в каком-то угаре, на следующий день истинный смысл судебного приговора был объявлен в газетах и этим был положен предел произвольным его толкованиям.

К числу наиболее интересных дел этого периода относится дело о Переце А-берге. Интересно оно не только по своей обстановке, но и по целому ряду других, связанных с ним обстоятельств, и даже обстоятельств моей частной жизни, иногда настолько странно переплетавшихся с этим делом, что получалось впечатление какого-то уголовного романа. Поэтому пусть не удивляется читатель, если некоторые приводимые здесь подробности моей частной жизни покажутся ему на первый взгляд как бы лишними, — они не лишни, и, если я о них упоминаю, то только потому, что эти подробности имели известное отношение к делу.

Дело было так: 5 марта 1908 года около 3 ч. дня, на окраине Одессы, по дороге, кажется, к деревне Фомина Балка, возвращался на завод кассир г. Сорокин (может быть, впрочем, в фамилии ошибаюсь), везший около 40 тысяч рублей заводских денег. Ехал он на маленькой бричке с кучером не то Янчевским, не то Яновским, — фамилии также точно не помню, буду называть его Янчевским. Когда они только что проехали под железнодорожным мостом, к их бричке бросилось 5 человек; двое остановили лошадь, а трое, вынув револьверы, направили их на Сорокина и отобрали от него бывшие при нем деньги, а затем все разбежались. Сорокин доехал до деревни и там рассказал крестьянам, что с ним, случилось. Крестьяне, из которых многие уже достаточно перед тем страдали от налетчиков, приняли,

самое живое участие и бросились к железной дороге ловить разбойников и увидели, что один какой-то человек бежит от них по линии железной дороги, по насыпи. Крестьяне его задержали, — это оказался безработный крестьянин Агеев; Сорокин и Янчевский опознали в нем одного из нападавших, который именно остановил лошадь, и сам Агеев признался в участии в нападении, но соучастников своих не назвал, сказав, что их не знает. На месте нападения была обнаружена случайно оброненная кем-то из нападавших обойма от браунинга с патронами, на которых была надрезана оболочка пуль; такие патроны, как производящие большее разрушительное действие, обыкновенно употреблялись революционными организациями для террористических актов, но никаких указаний на то, что это нападение на Сорокина было организовано какой-либо революционной группой, а не являлось делом обыкновенных разбойников, не было.

В то время, в виду перегруженности судебных следователей, был введен и для общеуголовных дел закон, существовавший ранее только в военном ведомстве, — что, если дело выяснено дознанием с достаточной полнотой, то оно может быть направлено в суд и без предварительного следствия. Так как в данном случае в отношении задержанного Агеева никаких сомнений, при наличности и собственного его сознания, не имелось, то дело о нем и было внесено с обвинительным актом в Одесский военно-окружной суд по данным полицейского дознания. Дело было уже назначено к слушанию, но дня за два до назначенного для слушания дня дело было затребовано прокурорским надзором обратно в виду задержания нового обвиняемого. Недели через 1½ дело снова поступило в суд и, кроме Агеева, в деле фигурировал уже и второй задержанный обвиняемый, Перец А-берг.

Начался процесс. Я выступал в качестве обвинителя. Защищал А-берга присяжный поверенный Литвицкий. Агеев на суде сознался в участии в разбое, а в отношении А-берга дело стояло так: в данных дознания значилось, что и Сорокин и Янчевский его опознали, как одного из тех, кто стоял с револьвером около брички; сам А-берг виновным себя не признает и Агеев говорить, что А-берг не был в числе нападавших. Очевидно, все зависело от того, что даст судебное заседание, и, естественно, большое значение имели личности Сорокина и Янчевского для определения ценности их показаний. Кассир Сорокин с первого же взгляда производил самое благоприятное впечатление, — видимо, человек твердый, стойкий, серьезный, спокойный; Янчевский казался человеком мало серьезным, невдумчивым, иногда даже просто легкомысленным. Показания их по самому существу дела вполне соответствовали данным дознания. Когда дошла очередь до опознания ими обвиняемых, то оба они уверенно опознали Агеева, а в отношении А-берга определились известные колебания: Янчевский его без оговорок опознал, — «да, да, тот самый, я его отлично опознаю, и усики такие же черненькие», — а Сорокин стал говорить как-то неуверенно: «очень похож, но все-таки я боюсь сказать, тот ли самый.» У меня даже закралось сомнение, неужели же мое впечатление от Сорокина ошибочно, неужели же он, кажущийся таким твердым человеком, теперь просто на суде малодушничает: ведь он на дознании определенно опознал А-берга, почему же теперь меняет свои показания? боится мести? — Надо сказать, что такая боязнь говорить уличающую обвиняемых правду у свидетелей, действительно, существовала и имела известные основания: как в Екатеринославе, на что я раньше указывал, так и в Одессе было много случаев, что свидетелям мстили за их показания и убивали их иногда до суда, иногда после суда. Неужели же, думаю, и Сорокин ради этого не решается на суде опознать А-

берга? Напоминаю Сорокину, что ведь на дознании он опознавал А-берга, — «да», говорит, «на дознании опознал, а теперь все-таки не могу сказать решительно, что это он.» Но при всем этом меня поражало еще одно обстоятельство: я с своего прокурорского места; — т.е. на раз стоянии около 12 шагов от подсудимых, — сразу же обратил внимание на совершенно исключительную наружность А-берга: у него нервные, резкие черты лица, длинные волосы, а самое главное — удивительные глаза, они горят каким-то особенным блеском. Если, думаю, мне с моего места, его лицо так бросается в глаза, то почему же свидетели, Сорокин и Янчевский, ничего не говорят об этих характерных чертах его лица? Начинаю детально допрашивать Янчевского, не обратил ли он внимание на какие-либо особенности лица А-берга, — ничего не указывает, только повторяет «тот самый, и усики такие же», а между тем у А-берга «усиков», собственно, не было, а только проступали слегка волосы над губой, как будто он вообще усы бреет, а здесь не брил их несколько дней. Допрашиваю детально и Сорокина, — он, оказывается, заметил и длинные волосы, и нервность лица, но о глазах ничего не говорит. Вопрос опознания, таким образом, оставался довольно неопределенным. На процесс, между прочим, был приглашен врач-эксперт для определения возраста А-берга, так как документальных данных об этом не было, а для суда, в смысле определения наказания, имело значение, имеет ли он более 21 года. С целью такого освидетельствования А-берг был введен в отдельную комнату, где находился и эксперт и состав суда. Имея возможность близко рассмотреть А-берга, я еще больше поразился блеском его глаз, — получалось впечатление, что он впустил в глаза какое-либо раздражающее средство, — и еще новой особенностью, которую я с места не мог видеть: его волосы были двух цветов, начинались как темно-каштановые, а

затем переходили в совершенно черные. Эта двухцветность волос навела меня на мысль, не подкрасил ли он их перед судом, ибо я знаю, что бывают случаи, что волосы по своей длине несколько меняют окраску, но в таком случае они ближе к корню темнее, а к концу светлеют, а тут было наоборот. Изменение обвиняемыми своей наружности перед судом, с целью затруднить опознание, было дело известным: один, бывший при совершении преступления с длинными волосами, перед судом острижется, другой, носивший короткие волосы, отпустит их, третий отрастит бороду и т.д. Раз у меня явилась мысль, что А-берг себе подкрасил волосы, то естественно было предположить, что он искусственно придал и блеск своим глазам, — все с целью, чтобы не быть легко узнаваемым, — и, может быть, подумал я, этим и объясняется, что Сорокин теперь на суде не опознает его так решительно, как на дознании. Я обратил внимание врача на эти особенности лица А-берга, врач очень внимательно его осмотрел, сказал, что он и сам очень удивлен и блеском глаз и цветом волос, но что он не находит, что здесь было какое-нибудь искусственное изменение. Таким образом вопрос опознания возвращался к прежнему, неопределенному положению.

Я был в большом сомнении: положиться целиком на опознание Янчевского я не решался, я очень считался с осторожным показанием Сорокина, а других, собственно, улик против А-берга не было. Так как предварительного следствия по делу произведено не было, то данные личности А-берга были мало освещены, и поэтому я на суде старался выяснить, что, собственно, он из себя представляет. Как раз по ходатайству защиты в зал заседания был допущен брат А-берга, — не то аптекарь, не то аптекарский ученик. Я приступил к его допросу и сведения получились даже неожиданные: оказывается, Перец А-берг кончил 6 классов гимназии, происходит из очень состо-

ятельной семьи, — отец его богатый торговец или лесопромышленник, чуть ли не миллионер, — и сам он приехал в Одессу учиться или аптекарскому, или зубоврачебному делу, не помню. Эти данные меня еще больше поставили в тупик: я никак не мог связать в одно безработного, кажется, даже безграмотного, простого рабочего из крестьян Агеева и этого А-берга, человека с образованием, из состоятельной семьи, — зачем мог бы А-берг идти вместе с Агеевым на разбой? — Впрочем, думал я, это, может быть, не был обыкновенный разбой, а нападение, организованное какой-либо революционной группой, для партийных целей, где А-берг мог участвовать, как партийный работник, а Агеев был просто взят, как грубая сила. Основанием для такой мысли являлся именно отмеченный мною факт нахождения на месте нападения обоймы с надрезанными в оболочке пулями, употреблявшимися именно революционными организациями.

Все же еще полного убеждений в виновности А-берга у меня не получалось, и я шел дальше в расследовании. Когда давал показание пристав, производивший дознание, и рассказал все, что было уже известно, я ему задал вопрос: «Скажите, пожалуйста, а почему собственно Вы задержали А-берга? Какие у Вас были указания на его виновность?». Пристав как-то даже удивился. «Как почему?» ответил он, — «да ведь мы в тот же день нападения предъявили Сорокину и Янчевскому альбом с фотографическими карточками налетчиков, имевшийся в сыском отделении, и они оба сразу опознали по карточке А-берга.» — «Как», спрашиваю, «значит А-берг уже раньше был известен как налетчик?» — «Да», отвечал пристав, «он, правда, не был ни разу захвачен и не привлекался, но подозрения на него были и потому он и был сфотографирован.» Это заявление пристава являлось уже громадным фактом для обвинения. Я спросил Сорокина, действительно ли он в день нападения опознал по фотографии А-берга, и он это подтвердил! Ни защитник, ни сам А-

берг ничего не могли сказать в опровержение этого факта нахождения его карточки в альбоме сыскного отделения. Для меня сомнений в виновности А-берга уже не было. Этот факт, что он уже давно был в подозрении как налетчик, опознание его в самый день нападения по карточке, имевшейся в сыскном отделении, из числа всех налетчиков, решительное опознание его на дознании Сорокиным и Янчевским, опознание Янчевским на суде и, наконец, факт нахождения обоймы с надрезанными пулями, — все это, несомненно, говорило в пользу его виновности в той именно концепции, которую я себе представлял, а не совсем решительное опознание его Сорокиным на суде я объяснил себе теперь с одной стороны тем, что уже прошло с месяца после самого нападения и, быть может, все же лицо А-берга как-нибудь изменилось, а с другой стороны тем, что, раз это нападение было организовано революционной группой, то, вполне возможно, было воздействие на Сорокина с требованием не опознавать А-берга на суде, в силу чего он, при всей своей добросовестности, все же не решался сказать правду до конца. Все эти свои соображения я высказал в своей обвинительной речи. Защита никаких существенных данных, кроме общего отрицания виновности А-берга, не дала. Суд, очевидно, также уже не имел сомнений в его виновности и приговором суда и Агеев и А-берг были признаны виновными в разбойном нападении и присуждены к смертной казни. Конечно, каждый из нас, по уже установившемуся правилу, был уверен, что, так как в данном деле убийства не было, то смертной казни Командующий войсками не утвердит и казнь будет заменена каторжными работами.

На следующий день было назначено объявление приговора в окончательной форме. Когда я шел в суд, меня остановил на улице брат А-берга, бывший в судебном заседании, — я его сначала и не узнал, — и стал спрашивать совета, как поступить.

«Уверю Вас», говорил он, «что брат невиновен.» Я сказал ему, что ведь он сам был на процессе и видел, какие были против его брата данные, так что говорить о невинности мало оснований. «Верно», ответил он, «я сам вижу, что на суде все так сложилось, что он виноват, но, — я не могу этого доказать, — а все-таки я уверен, что он невиновен. Как поступить? Подавать ли кассационную жалобу? Я боюсь, что Командующий войсками утвердит приговор и брата казнят.» Я ему ответил, что, по моему мнению, смертной казни, безусловно, здесь не будет, и что подавать кассационную жалобу нет никаких оснований, так как, он сам видел, никаких кассационных нарушений в деле не было, но что я бы ему советовал, если он так уверен в невинности брата, немедленно подать Командующему войсками просьбу о приостановлении исполнения приговора и позаботиться о представлении доказательств невинности. Впрочем, сказал я ему, пусть лучше еще посоветуется с защитником.

Дней через пять после этого ко мне пришел защитник А-берга присяжный поверенный Литвицкий, сообщил, что Командующий войсками приговор смягчил, и вместе с тем сказал: «Помните, Янчевский говорил, что у А-берга были усики, — вот Вам фотографическая карточка А-берга, снятая 2-го марта, т.е. за три дня до нападения, и, видите, никаких усиков у него нет, — значит, Янчевский неверно его опознал? На карточке, действительно, А-берг был без усиков и на оборотной стороне была, поставлена дата 2 марта 1908 г. «А кто эту дату поставил?» спросил я. «Я», ответил г. Литвицкий. «Вы сами, конечно, понимаете», сказал я, «что Вами поставленная дата не доказательство, надо было бы хотя взять удостоверение из фотографии. Но, во всяком случае, по моему мнению, это не имеет никакого значения: я-вовсе не считал, что у А-берга были усики, а что Янчевский так только определил впечатление от пробывавшихся

над губой волосков, и если 2 марта, как Вы говорите, А-берг снимался, то, естественно, он перед этим побрился, и тогда вполне понятно, что 5-го у него опять уже могли пробиваться волосы.» Г. Литвицкий со мной согласился. Недели через две-три г. Литвицкий снова приходит ко мне и очень взволнованно сообщает: «Вы знаете, какая громадная ошибка? Ведь карточки Переца А-берга никогда не было в сыскном отделении: там есть карточка Лейбы А-берга (та же фамилия), — сыскное отделение обещало даже выдать мне в этом удостоверение!» Я, откровенно говоря, не очень этому поверил, но ответил ему, что, если бы это действительно оказалось так, то это имело бы большое значение, ибо для меня лично, для моего убеждения, этот факт с карточкой на суде сыграл громадную роль, — он именно и связал все разрозненные и недостаточные сами по себе в отдельности доказательства в логически несомненную картину. Г. Литвицкий ушел, сказав, что он приложит все силы, чтобы этот факт установить документально.

Через несколько времени, в конце мая, я заболел. Болезнь была тяжелая и опасная, — спасением своим я обязан исключительно жене и молодому врачу Одесского военного госпиталя Константину Николаевичу Кононовичу, которые целыми ночами неотступно следили за моим состоянием, а затем блестящей операции, произведенной старшим врачам Евангелической больницы д-ром Аукстом. Болел я четыре месяца и только с октября понемногу начал опять входить в работу. О деле А-берга я за это время ничего не слыхал и только приблизительно уже в феврале 1909 года узнал, что защитой возбуждено в Главном военном суде ходатайство о возобновлении этого дела.

В конце мая 1909 г. я получил разрешение на трехмесячный отпуск для поправления здоровья; ехать на какой-либо курорт я не мог решиться, для этого нужно было больше средств, и мы

остановились на мысли, по совету знакомых, поехать всей семьей в дер. Звонковое, Киевской губернии, в 12-ти верстах от ст. Мотовиловки, в дивную, здоровую, сухую местность с сосновым лесом и с возможностью даже получать кумыс, который всегда мне очень помогал. Так как дачи в Звонковом к этому времени были уже все разобраны, то пришлось ограничиться заочным наймом оставшейся дачи через посредство какого-то еврея, — оказалась это дача у какой-то «бабы Гали», слышавшей там чуть ли не колдуньей. Однако, к отъезду встретилось новое препятствие, — мы не могли найти прислуги, которая согласилась бы ехать с нами на дачу. Так тянулось недели полторы. За это время я узнал из газет, что Главный военный суд дело А-берга возобновил, т.е., следовательно, предстоял пересмотр дела. Наконец, нам удалось найти прислугу, которая согласилась ехать, и мы решили не откладывать более ни дня.

Кажется, числа 8-го июня мы выехали. Я с семьей занимал три места в купе 2-го класса, а четвертым пассажиром в купе был какой-то господин, по виду лет 55-60, еврей, очень тихий. Дети, естественно, в вагоне вели себя оживленно, ходили нам по ногам, все стремились к окну, и наш компаньон даже уступил им место у окна, а сам подвинулся к двери. Я извинился, что причиняем ему беспокойство, но он сказал, что пусть нас это не смущает, что он отлично понимает, что дети всегда в поезде всем интересуются, — вообще, он показал большую деликатность. Так прошло часов до 7-ми вечера. Затем я на несколько минут прошел в соседний вагон к прислуге и, возвращаясь, вижу, что около окошка в коридоре стоит наш компаньон по купе с моей старшей дочерью, 6-ти лет. Только что я подошел к ним, он обращается ко мне и говорит: «Мне Ваша дочь сказала, кто Вы такой, — а у меня как раз в Вашем суде было дело о сыне, его приговорили в прошлом году к смертной казни, а теперь дело о нем возобновлено и будет снова пересматриваться, — вот

я и хочу Вас спросить. Я сразу же, конечно, догадался, что это отец А-берга, так как других возобновленных дел в то время не было. — «Вы г-н А-берг?» спросил я его. — «Да!» — Я ему тогда сказал, что я знаю, что дело возобновлено, и что самое дело я хорошо знаю, так как сам его проводил. Это выражение «проводил дело» было ему, очевидно, непонятно, так как он стал мне опять рассказывать про дело, и говорить, что и прокурор, — т.е. в данном случае, я, — сам находит, что этот случай с карточкой имеет большое значение. Чтобы вопрос совершенно выяснить, я ему прямо сказал, что именно я и был прокурором по делу, что это я обвинял его сына. Тогда он понял, но, — что меня даже поразило, — у него ни в чем не мелькнуло ни тени какого-либо недоброжелательства или горечи по отношению ко мне, наоборот, скорее почувствовалось, что он относится ко мне даже с особым доверием. «Боже мой, как жаль, что Вы уезжаете из Одессы», сказал он, «ведь скоро дело будет рассматриваться, — а как же без Вас? Литвицкий (защитник) говорил, что Ваше присутствие на суд необходимо, что только Вы можете восстановить картину прошлого суда и тогда будет ясно, в чем была ошибка. Как же теперь быть?» Я ему сказал, что, если защита находит нужным мое показание на суде, то пусть просит суд вызвать меня свидетелем, и я, несмотря на дальность расстояния, приеду, — и дал ему свой адрес, по которому меня можно было вызвать или мне написать.

Разговор между нами еще довольно долго продолжался и тут я от него услышал действительно печальную повесть того, как отозвалось это дело на всей его семье. Этот вопрос о том, что судебный приговор отражается не только на осужденном, но иногда слишком больно задевает и целый ряд лиц, с ним связанных, давно стоял в моем сознании, но теперь я слышал по нему живые факты. — «Посмотрите на меня», говорил он, «ведь я теперь совсем развалина, мне можно дать лет 60, я почти ни к

какой работе не гожусь, а ведь мне всего 42 года, еще в прошлом году я был совсем как молодой человек! Вы знаете, ведь мне никто даже не сообщил, что мой сын был в чем-то заподозрен, арестован и предан суду, и потом сразу и защитник и старший сын написали, что Перец присужден к смертной казни. Что со мной было, я и сказать не могу; да Вы видите, какой я стал. А с дочерью и не знаю, что еще будет. У нее, как только она узнала, что случилось с Перцем, началось страшное нервное расстройство, — едва ли, думаю, не душевное заболевание, — отправили мы ее в лечебницу в Швейцарию, но пока все еще ей не лучше, не знаю уже, и выздоровеет ли. Ведь этого мальчика мы больше всех любили. Старший сын уже давно живет один, а этот все время был с нами. И неудача была у нас в семье, и уже на этого сына мы особенно надеялись. И отчего они меня не предупредили, что он арестован? — может быть я приехал бы и что-нибудь мог помочь! Слава Богу, что теперь дело возобновили, все-таки, есть надежда, что оправдают, а если и теперь не оправдают, то уже все кончено! Литвицкий просит меня, чтобы я пришел на суд, а я думаю, что не смогу.» Да, слушая его, я хорошо понимал легший на его семью от этого дела ужас. Но меня еще поразили его слова о «неудаче», бывшей в его семье; у меня мелькнула мысль, не есть ли эта «неудача» тот Лейба А-берг, карточка которого (а не Переца), — если верить теперешним данным, — имелась в сыскном отделении, как налетчика, — может быть, этот Лейба третий его сын? Спросить его об этом я, конечно, не решился, но в пользу такого предположения говорило то, что если виновного узнали по карточке Лейбы, а на суде и Сорокин почти что признавал за виновного Переца, то откуда же бы взялось такое близкое сходство при тождественности фамилии?

Утром следующего дня мы простились с г. А-бергом; он собирался или сам сейчас же ехать в Одессу или писать присяжному поверенному Литвицкому о нашей встрече, сообщить ему мой адрес и мое согласие приехать на судебное заседание, если суд меня вызовет.

Приехали мы в Звонковое. Место очаровательное — песок, сосновые леса, дивный воздух, — лучшего нельзя и желать. Немного неудачно вышло только с самой дачей, — это оказалась запущенная деревенская хата, в которой, по-видимому, несколько лет никто не жил, окна едва держатся, ставни гнилые, наружных дверей совсем нет, крыта соломой; шагах в 20-ти от нее кухня, также крыта соломой и, странно, без труб, так что дым и искры каким-то необычайным образом проходят через солому; мы положительно удивлялись, как эта кухня не сгорит. Но и эти недостатки дачи можно было простить за ее расположение: она стояла в большом саду, спускающемся к оврагу, и притом совершенно в стороне от деревни, — ближайшая к ней хата соседей была шагах в 300-400, и только по другую сторону тянулось несколько хат, в которых жила сама «баба Галя» и ее взрослые сыновья. Одним словом, создавалась обстановка самая подходящая для отдыха и поправки. На счастье и погода была прекрасная; дивно было и в лесу, хорошо было и около дома. Впрочем, случился и курьез: недолго нам пришлось удивляться, как это кухня не сгорит, — она, действительно, загорелась, и так скоро пошел огонь, что едва успели вытащить из печи обед. Однако, и это не изменило нашего настроения. Затем произошел другой случай, в результате довольно неприятный. Началось и тут с курьеза. Возвращался я раз со старшей дочерью из леса домой. Видим, перед самой почти нашей дачей, на лесной лужайке, лежать на земле ничком два человека, как раз поперек тропинки. При нашем прекрасном настроении мы решили пошалить, и, не обходя лежавших, перепрыгнули через

них; дочери это понравилось, и мы еще раза два проделали то же самое; лежавшие, не просыпались. Вечером того же дня вся деревня была встревожена грабежом: одну даму дачницу грабители остановили, сняли с нее все ценные вещи, вырвали серьги из ушей; была устроена погоня, по грабители отстреливались и сумели уйти. Выяснилось, что это были бежавшие из Киевской тюрьмы, приговоренные за разбой в каторжные работы, — в Звонковое они пришли к одному из сыновей нашей хозяйки, с которым познакомились в тюрьме, и как раз они-то перед тем и лежали перед нашей дачей и мы с дочерью через них прыгали. Воображаю, как бы они удивились, если бы узнали, что через них прыгает помощник военного прокурора! Естественно, что этот грабеж заставил быть настороже, но общее настроение от этого не изменилось.

Утром 29-го июня, в Петров день, ко мне на дачу приехал брат А-берга, бывший на суде, с письмами от присяжного поверенного Литвицкого и от отца. Литвицкий писал, что он просил суд вызвать меня в качестве свидетеля, но суд отказал; однако, он находит, что мое показание крайне существенно для дела, надеется, что, если я, все-таки, приеду, то суд не откажет в моем допросе, и потому настойчиво просит приехать; дело назначено на 4 июля. Отец А-берга, в своем письме, поддерживает эту просьбу защитника и добавляет, что, если я не приеду, то он не найдет в себе сил присутствовать на заседании, так как будет иметь мало надежды на благоприятный исход дела. Я, как и раньше говорил, был согласен приехать, но тот факт, что суд отказал в моем вызове, не давал мне уверенности, допустит ли он меня к даче показаний, если бы я и приехал, — для этого надо было бы мне знать, по каким причинам суд отказал в вызове. Естественно, ехать и не быть допущенным к даче показаний, мне не хотелось. Поэтому я остановился на таком решении: я

сказал А-бергу, что пусть он немедленно возвращается в Одессу, дал ему письмо к исполнявшему тогда обязанности военного прокурора генералу Б., в котором в кратких словах излагал дело и просил принять А-берга и выслушать его и дать ему ответ, буду ли я допущен к даче показаний, если приеду, — а А-бергу сказал, что пусть он ответ прокурора мне немедленно телеграфирует, и, в зависимости от ответа, я уже и определю, приеду ли на судебное заседание. А-берг сейчас же уехал.

Днем 30-го июня получаю от него телеграмму: «Ответ прокурора Вам телеграфирован. Если приедете, будете допущены дать показание». Телеграмма эта мне показалась странной: по тону ее совершенно не чувствовалось, чтобы мой приезд признавался настолько желательным, как о том раньше писал г. Литвицкий, — я даже подумал, что, может быть, по каким-либо причинам, он уже и не так считает необходимым мой приезд, — а особенно меня удивила фраза: «ответ прокурора Вам телеграфирован». Если здесь была только неправильная передача слова — «телеграфирован» вместо «телеграфировать», — то, конечно, телеграмма сомнений не возбуждала бы, но если считать, что ошибки в передаче нет, то дело становилось иначе: значит, прокурор мне сам что-то телеграфировал; зная обстоятельство генерала Б., я мог быть уверен, что его телеграмма была бы настолько ясной, что не допускала бы уже никаких сомнений, и потому-то, думал я, так бледно и без всякой настойчивости телеграфирует А - берг. Значит, надо было точно узнать, была ли, действительно, какая-нибудь телеграмма на мое имя от генерала Б., — узнать это можно было только на следующий день на станции, надо было специально за этим кого-нибудь послать (до ст. Мотовиловки, как я раньше сказал, было 12 верст). Я лично скорее предполагал, что, если такая телеграмма была, то там бы говорилось, что суду положение дела известно и что мой приезд считается необходимым для дела не может. При таких

предположениях мое первоначальное решение непременно поехать на разбор дела несколько поколебалось, и поэтому я решил еще испытать обстановку. Я написал обширный официальный рапорт на имя генерала Б., сообщая ему все, что имело значение для дела, и просил его самого решить, необходим ли мой приезд, и, если необходим, то мне телеграфировать, а если он найдет достаточным этот мой письменный доклад, то чтобы он официально предложил его суду. Я рассчитал так: утром 1-го июля это мое письмо пойдет; несомненно, утром 2-го будет у генерала Б., он мне 2-го же может телеграфировать, 2-го же к вечеру, а самое позднее 3-го днем, я получу его телеграмму и, если будет нужно, вечером 3-го выеду и утром 4-го буду на судебном заседании. Весь вопрос должно было разрешить это мое письмо. Надо было только организовать посылку человека ранним утром с этим письмом на ст. Мотовиловку, чтобы этот же человек справился и о том, не было ли еще мне телеграммы от прокурора.

Послать я решил старшего из сыновей нашей хозяйки, Тимоша; это был человек уже лет 40, он имел лошадей и иногда выезжал на станцию. Отправился я к нему, но его дома не оказалось, — жена его сказала, что он сейчас на сенокосе, вернется поздно к ночи, и тогда она его пошлет ко мне. Сажу дома и жду. Дети уже легли спать. Ждал я так часов до 11 ночи. Слышу, наконец, стук телеги, решил, что едет Тимоша с братьями с сенокоса, и решил его остановить около дома, чтобы он потом не стучался. Ночь темная. Выхожу и уже стука телеги не слышу, — очевидно, она остановилась, не доезжая нашей дачи. Слышу только шагах в 15 неясные голоса. По боковой терраске выхожу в сад, направляясь к калитке, иду почти ощупью, так как по вечерам я почти ничего не вижу, и спрашиваю: «Тимоша, это Вы?» Слышу ответ: «Мы, барин, держите при себе револьвер, тут кто-то спрятался, — кажется, убийство начинается!» — Вот уже никак не

ожидал такой истории! — и главное, ничего не вижу, могу строить только догадки. По догадке, дело мне представилось так: очевидно, кто-то сидел, спрятавшись, около забора нашей дачи; хозяйкины сыновья, очевидно, это заметили и оттого остановились, не доезжая, — что же, собственно, затевалось? на нашу дачу, может быть, готовилось нападение? Во всяком случае, надо было выяснить. Я кое-как, ощупью, добрался опять до своей двери, взял револьвер, сказал жене, что что-то неладно, предупредил ее, чтобы не пугалась, если буду стрелять, и опять пошел, хотя, откровенно говоря, сам не знал, что сумею сделать, раз ничего не вижу. Гостившая у нас тогда сестра жены посветила мне несколько из двери свечой в садовом подсвечнике, но, чуть я отошел дальше, попал в совершенную темноту. На этот раз я уже ясно услышал, что там за калиткой идет драка, слышатся удары и стучат косы, — но почти сейчас же все это смолкло и слышно было, как несколько людей отбежало. «Подождите», слышится крик, «мы и ваших дачников сожжем!» Это что еще за милое обещание? подумал я. В это время ко мне через калитку подошел младший сын хозяйки, лет 25, и сказал, что ему сейчас в драке порезали косой руку. Привел я его в дом, — оказалась громадная рана от пальцев почти до локтя. Пока ему жена эту рану промыла и перевязала, он рассказал нам, что, собственно, произошло. Оказывается, действительно, они трое ехали с сенокоса и увидели, что под забором около нашего сада кто-то прячется; они побоялись дальше ехать и остановились, и как раз в это время вышел я, и они меня и предупредили, что заметили. Тогда те, кто прятались (очевидно, когда я уходил в дом за револьвером), бросились на них, — оказалось, что это их соседи, из соседней хаты, о которой я упоминал; их там было отец и, кажется, два сына, — все когда-то побывали в тюрьме; между ними и сыновьями нашей хозяйки старая вражда и как раз еще и в этот день на сенокосе была ссора и те, очевидно, и

решили им отомстить, подождав их в глухом месте, около нашей дачи; в драке, все-таки, наши хозяева победили. Сюрприз для нас был неожиданный; обещание нас поджечь каждую минуту могло быть приведено в исполнение, тем более, что поджечь наш дом, в сущности, ничего не стоило. Появились и какие-то странные явления: слышу, например, кто-то пробежал под нашими окнами, — ну, думаю, пожалуй, правда, подожгли! — выхожу, но все благополучно; потом слышу, около окон заливаются-лает собака, — и откуда она взялась, не знаю, у нас собаки не было, — опять выхожу, опять ничего нет; вместе с тем, когда выходил, несколько раз слышал голоса за забором нашего сада, — с другой стороны, с поворота дороги, не со стороны хозяйских хат, — очевидно, там все еще кто-то сидит. Так всю ночь, до света, мы с женой и продежурили. Встал перед нами вопрос: стоит ли в таких условиях оставаться и дальше здесь? окружающая компания мало приятная, быть среди них, живущих во вражде, с возможностью стать косвенным объектом мести, удовольствия не представляет; нападением в лесу и этим случаем настроение уже подорвано, — ведь это значит, и прогулками пользоваться нельзя будет спокойно, да и по ночам можно ждать неприятностей, — какой же тогда отдых? — а нам всем нужен был именно полный, безусловный отдых. Думали и решили уехать и остаток отпуска провести или где-нибудь на курорте, или около Одессы на море; решили, что числа 2-3 июля выедем обратно в Одессу, 4-го я буду на деле А-берга, а там будем устраиваться дальше. Таким образом отпал и всякий смысл в посылке какого-либо письменного сообщения, не было смысла и запрашивать о чем-нибудь прокурора, — и я 2-го июля послал А-бергу телеграмму, что на суд приеду. Впрочем, мы из Звонкового не уехали: как раз после отправки телеграммы к нам пришли все наши хозяева и стали усиленно просить, чтобы мы

не уезжали, что это будет страшный скандал для них, если дачники от них из-за беспокойства уедут, обещали, что ничего подобного не повторится, и мы решили рискнуть и остаться. Но уже в отношении моей поездки в Одессу дело было решено, — раз уже дал телеграмму, что приеду, нельзя было не ехать.

Не странно ли сложились обстоятельства? как в начале, — не окажись я случайно в одном купе с отцом А-берга, защита могла бы и не узнать моего адреса и самое ходатайство о моем вызове и дальнейшие ко мне обращения могли бы оказаться невозможными, так и теперь эта история на даче 30 июня окончательно определила мою поездку на дело.

Утром 4-го июля я был в Одессе. До начала судебного заседания я зашел к генералу Б., рассказал ему всю эту историю. От генерала Б, я узнал, что к делу теперь привлечен третий обвиняемый, кажется, по фамилии Федоров, который уже перед тем за что-то был осужден в каторжные работы без срока (или к смертной казни с заменой каторжными работами), и который сознается в этом разбойном нападении на Сорокина. По просьбе защитника суд допустил меня к даче показаний. Я был допрошен одним из первых, сказал все, что имел сказать, и был, с согласия сторон, освобожден от дальнейшего присутствия в зале заседания и вышел из зала опять в военно-прокурорский надзор. Генерал Б. также был в зале заседания, а затем вскоре вышел за мной и говорит мне: «А Вы заметили третьего подсудимого, Федорова? Поразительно! Одно лицо с А-бергом!» Я, бывши в зале, как-то совсем не обратил на него внимания, но, услышав это, пошел снова в зал: действительно, Федоров был удивительно похож на А-берга, — такого же роста, такие же длинные волосы, очень сходные черты лица, только нет того блеска в глазах; его, оказывается, опознал и Сорокин, его участие в нападении признавал и Агеев. Получалось нечто удивительное. Ведь если признать, что действительным участником

нападения был этот Федоров, то, значит, здесь имело место какое-то фантастическое совпадение: виновен в разбое, скажем, Федоров, виновного опознают по имеющейся в альбоме сыскного отделения карточке, но это, оказывается, не карточка Федорова, а карточка Лейбы А-берга, очевидно, до чрезвычайности на него похожего, а затем по этой карточке задерживают не Лейбу, а Переца А-берга, также до чрезвычайности на него похожего. Три чрезвычайно похожих лица, друг с другом не связанных?

Не дождавшись приговора, я с поездом в 1 ч. дня уехал из Одессы обратно в Звонковое, попросив секретаря мне телеграфировать, чем кончится дело. На следующий день получил телеграмму от секретаря и от А-берга, где он сообщает: «сын оправдан». Потом следовало полное благодарности письмо отца А-берга и письмо г. Литвицкаго.

С А-бергом я больше не встречался. С прис. пов. Литвицким я встретился, конечно, по возвращении из отпуска. Он был бесконечно рад исходу дела и спрашивал меня, убедился ли я, что Перец А-берг невиновен. «Не знаю», ответил я ему, «я, к сожалению, последняго процесса полностью не прослушал, но на меня факт появления на нем Федорова, как виновного, вместо А-берга, в нападении, произвел неблагоприятное впечатление: или тут действительно чудесное, недоступное ясному пониманию, совпадение, — чрезвычайное сходство трех посторонних друг другу лиц, — или, быть может, что-то искусственное. Я остаюсь при своем мнении: если, действительно, карточки Переца А-берга в сыском отделении не было, то с этим для меня лично отпадает логическая связь между остальными уликами, и я считал бы их недостаточными для убежденного обвинения, но отсюда еще далеко до убежденного признания невинности.» — Впрочем, у меня шевельнулась еще одна мысль, которую я тогда не высказал: не есть ли этот Федоров — Лейба А-берг, в свое

время скрывшийся, затем осужденный под чужим именем и с этим именем и фигурировавший? — ведь тогда разрешился бы вопрос чрезвычайного сходства трех лиц, и тогда были бы понятны и все отмеченные мною колебания в заявлениях Сорочкина в отношении опознания.

Все же, и сейчас говорю, это дело осталось для меня загадкой.

Наконец, одним из очень характерных для того времени дел было дело об Александре Бе-ке. Обстановка дела была такая: в Одессе, в конце Херсонской улицы, был небольшой пустырь, с редкими деревьями, кустами и протоптанными в разных направлениях дорожками. Как-то часов в 9-10 вечера, в теплое время, проходившие по улице услышали на этом пустыре выстрелы, и, прибежав на них, увидели лежащего на земле городского, тяжело раненого, бывшего без сознания. Затем в Херсонский полицейский участок прибежал почтальон Александр Бе-к и заявил, что он сейчас только проходил по пустырю, услышал там выстрелы и, прибежав на них, увидел городского, по-видимому, убитого. Немедленно, по его заявлению, на место происшествия отправился пристав с нарядом городских, с ними пошел и Бе-к и остановился тут же в толпе. Раненого городского стали приводить в чувство и он вскоре заговорил. Стоявшая рядом с Бе-ком девица сказала ему: «Сашка, уходи, а то плохо будет», — и оба они скрылись. Привезенный в больницу городской пришел в себя и уже смог рассказать, что случилось: он проходил по этому пустырю и увидел в стороне молодого человека с девицей в позе, внушившей ему подозрение; он подошел к ним и пригрозил, что отведет их в участок; в ответ на это молодой человек выстрелил в него раза 2-3 и он, раненый, упал; молодой человек был одет похоже на гимназиста, в черных брюках, в белой рубашке, с кожаным поясом с металлической бляхой. После этого заявления городского чины полиции сразу

же обратили внимание, что именно так и был одет почтальон, прибежавший в участок сообщить о происшедшем, т.е. Бе-к; немедленно его разыскали, разыскали и девицу, которая была с ним в толпе, но уже раненому городовому их предъявить не могли, — ему стало хуже и он умер.

Следствие и было поведено в том направлении, что Бе-к, прибежавший в полицию, на самом деле был именно убийцей. Бе-к виновным себя в убийстве не признал и настаивал на прежнем своем показании; согласно с ним показывала и девица; фразу свою «Сашка уходи, а то плохо будет» — девица отрицала, но ее устанавливали бывшие в толпе свидетели. Никаких других улик против Бе-ка не было. Бе-к был арестован. Приблизительно через неделю, точно не помню, та же девица явилась в полицию и заявила, что хочет сказать правду: она узнала, что убил городского такой-то, — фамилии его не помню, что-то в роде Морозова, чисто русская фамилия; что он сам ей это сказал; она с ним была в приятельских отношениях и потому сначала об этом не заявляла, а теперь поссорилась и решила заявить; особенно на том, чтобы она заявила правду про Морозова, настаивала тетка Бе-ка; однако, сама эта тетка ни в полицию, ни к следователю не обращалась. Разыскали и этого Морозова, — буду так его называть, — он себя виновным не признал, заявил, что он совсем и не был тогда в этой части города, и почему его оговаривает эта девица, совершенно не знает; с ней он никакой ссоры не имел, так что она и по злобе не могла бы на него указать. Какая-то родственница этого Морозова показала, что тетка Бе-ка что-то особенно стала внимательна к этой девице, чего раньше не было. Ничего, в сущности, более определенного на следствии выяснено не было.

Дело поступило на заключение ко мне. Встал, таким образом, вопрос, кто же виновен в убийстве, Бе-к или Морозов. Против Бе-ка улики были косвенные, против Морозова — прямой

оговор. Я лично больше значения придавал уликам против Бе-ка; одежда убийцы вполне соответствовала его одежде, девица эта с ним, несомненно, была перед убийством, да и она этого не отрицала, ее фраза, сказанная сейчас же, как только городской заговорил, была, естественно, вызвана опасением, что, если городской придет совсем в себя, то опишет убийцу и в нем сразу же узнают Бе-ка, и, наконец, самая явка Бе-ка с заявлением в полицию являлась психологически понятной, — он был уверен, что городской убит, и, считая себя в безопасности, в силу своего повышенного после убийства нервного состояния, остро переживал это сознание безопасности и как бы хотел еще усилить это сознание. Такие случаи, когда преступник, сознающий, что он не открыт, стремится снова как нибудь подойти к своему преступлению и, в обостренном воспоминании о нем, еще живее пережить это сознание безопасности, давно известны. Я еще со своих молодых лет помню такой случай: обращается ко мне раз муж нашей прислуги: «скажите, барин, а Вы не читали в газетах, что у одного человека в бане белье украли?» — я сразу же подумал, что это он сам украл белье, так и оказалось. Это повышенное состояние преступника, которого тянет к его преступлению, это желание преступника снова остро пережить свое преступление при сознании, что он не открыт, блестяще изображено Ф.М.Достоевским в «Преступлении и наказании», когда Раскольников, под влиянием «неотразимого и необъяснимого желания», снова идет на квартиру убитой им старухи ростовщицы: «осмотрев комнаты, он вышел в сени, взялся за колокольчик и дернул... тот же звук! Л. дернул второй, третий раз... он вслушивался и припоминал... прежнее, мучительно страшное, безобразное ощущение начинало все ярче и ярче припоминяться ему, он вздрагивал с каждым ударом и ему все приятнее и приятнее становилось», «холоду спинного опять испытать потребовалось», говорит Порфирий Петрович. — Что же касается

оговора Морозова, то он представлялся мне слишком грубым, роль в этом тетки Бе-ка была очень подозрительной; меня только удивляла смелость этой девицы, сделавшей такой оговор, — в Одессе так шалить было рискованно, там убивали и за правильное показание; за непричастность Морозова к делу говорило и то, что он ничем не пытался объяснить оговора девицы и даже не заявил, как обычно заявляется виновными, что оговор сделан «по злобе».

На основании этих соображений я решил внести дело в суд с обвинительным актом в отношении Бе-ка, но я допускал возможность, что при ближайшем соприкосновении с делом, когда на суде мы увидим и услышим обвиняемого и свидетелей и будем иметь возможность получить непосредственное впечатление об их личности и достоинстве их показаний, взгляд на дело может и измениться. Поэтому я постарался поставить процесс возможно широко, — на суд были вызваны все свидетели, от которых можно было надеяться получить хотя малейший штрих для дела, что-то около 32 свидетелей. Защищал Бе-ка присяжный поверенный Богомолец, которого я особенно уважал за его идейное отношение к судебным делам и безукоризненное обращение с судебным материалом.

Дня суда я ждал с большим интересом, — ждал именно возможности сделать много интересных наблюдений и сопоставлений. Но в этом отношении процесс принес мне полное разочарование. Одна из двигательных пружин процесса, — эта самая девица, знакомая Бе-ка, — оказалась совершенным ничтожеством; попробовала она сначала что-то отстаивать Бе-ка, но, после первых же серьезных вопросов, сразу же разоблачила всю свою дешевую интригу с оговором Морозова, рассказала, что за этот оговор тетка Бе-ка обещала ей какое-то платье и подарила ей туфли, — и показала даже эти туфли, она в них была на суде,

— и при всем этом эта девица ничуть и не тревожилась всей недостойностью своего поведения; вполне понимаю, что и Морозов даже не проявил злобы к ней за ее оговор, — такие люди даже не стоят того, чтобы на них сердиться. Всякий вопрос о виновности Морозова на суде, таким образом, совершенно отпал. Был ли Бе-к виновным в убийстве? Я в этом на суде уже не сомневался и в этом смысле вполне убежденно поддерживал обвинение. Защитник блестяще использовал материал и, не говоря о «невиновности» подсудимого Бе-ка, доказывал, что в виновности его есть сомнение, что виновность его «не доказана». Суд стал на точку зрения защиты, признал виновность Бе-ка не доказанной и оправдал его.

После суда я разговаривал по этому делу с присяжным поверенным Богомольцем: оказалось, что и он при изучении дела переживал все те же колебания и сомнения, которые испытывал и я. Прошло еще недели две. Узнаю, что Бе-к являлся снова с суд и просил ему дать вторую копию его оправдательного приговора, — первую он, будто бы, потерял. Это было для меня еще новым доказательством его виновности, — конечно, эта копия ему ни за чем нужна не была, но его, в силу уже отмеченного мною психологического состояния оказавшегося в безопасности преступника, тянуло еще раз подойти к тому месту, где ему так недавно грозила опасность быть осужденным, его тянуло сюда сознание, что «вот я виновен, тут, именно тут, в суде, меня могли осудить, а теперь я могу входить сюда свободно, я в безопасности, меня уже не осудят». Встретившись затем с присяжным поверенным Богомольцем, я рассказал ему об этом факте и высказал свое убеждение, — он признал, что, действительно, пожалуй, я прав в своем убеждении; оказывается, что и к нему, после оправдания, Бе-к являлся несколько раз на квартиру и все по каким-то пустяковым, не имеющим никакого смысла, во-

просам; очевидно, эти явки были такого же порядка, как и первая его явка в полицию и как последующая явка в суд. Таким образом я не сомневался, что оправдан виновный. Но наш закон гласит: «Оправданный вошедшим в законную силу приговором суда не может быть вновь судим по тому же делу, хотя бы открылись новые обстоятельства, изобличающие его вину», — и Бе-к может быть спокоен, да к тому же и речь тут идет не о «новых обстоятельствах, изобличающих его вину», а о фактах чисто психологического порядка, влияющих лишь на убеждение.

На этом я заканчиваю свои воспоминания об отдельных судебных делах, прошедших передо мною. Я далеко не исчерпал всего материала, а выбрал только наиболее существенное и интересное по своему жизненному, психологическому и чисто судебному значению. Задача моя, повторяю, такая: послужить делу установления диагноза болезней, жизни и указанию способа лечения этих болезней. Поэтому, остальные дела, которые могли бы, может быть, даже показаться интересными по своей фабуле, но которые, с моей точки зрения, ничего нового в это дело диагноза болезней жизни не вносят я оставляю без упоминания. Но поставлю ли я сейчас этот диагноз? Для себя лично я известные выводы сделал, но выставлять их как непреложные было бы еще преждевременно, одних моих наблюдений для этого мало. Я только даю для этого материал; я данными своими воспоминаниями зову других судебных деятелей также пересмотреть свой материал и поделиться им, — и когда соберется материал достаточный, то, не сомневаюсь, найдутся люди, которые поймут всю его серьезность, изучат его, продумают, и с глубокой проникновенностью и с полной объективностью поставят этот диагноз болезней жизни и укажут пути и способы их лечения.

Но я предвижу один вопрос, по данным моего изложения, который мне могут поставить. Что же, скажут мне, значит, в судебных делах, даже и в конечном моменте, при самой постановке судебного приговора, далеко не всегда удается довести дело до той ясности и несомненности, при которой только и самый приговор является несомненным голосом правды? Значит, скажут мне, и в суде возможны такие случаи, как было хотя бы в указанных мною делах о солдате Ш-овском и о А-берге, когда один суд сначала признает виновным подсудимого, а другой суд затем его оправдает? Значит, скажут мне, данные обвинительного материала оказывались настолько непрочными, что, при вторичном разбирательстве, они не признавались судом достаточными для осуждения, а между тем при первом судебном разбирательстве по ним произносился обвинительный судебный приговор? Как же с такими непрочными данными решаетесь Вы, прокурор, выступать? Как могли, например, Вы поддерживать обвинение, — в деле об истязании Мельникова, — против Марии К-ской, если сами не считали, по убеждению, вполне доказанным ее участие в этом истязании? Не ошиблись ли Вы и в своей оценке виновности Бе-ка, которого суд, вопреки Вашей убежденной обвинительной речи, оправдал?

На эти вопросы я отвечаю: Да, судебные дела — не математические выкладки; в судебных делах часто могут встретиться сомнения, и большие сомнения, в судебных делах могут быть и ошибки. А разве не ошибаются врачи в лечении болезней? не ошибаются родители в воспитании детей? — а ведь им во многих случаях найти истину гораздо легче, чем судебному деятелю. Или и им отказаться от своего дела в виду возможных ошибок? — Я совершенно намеренно, в своем изложении, показывал те сомнения и колебания, которые переживает следователь, прокурор и суд, ища правды в деле. Эти сомнения и колебания, эту подчас двойственность доказательств в деле, одни из

которых указывают на виновность, другие на невиновность обвиняемого, вполне понимал и учитывал наш закон, и поэтому и требовал от судебных деятелей глубочайшей объективности и беспристрастия в оценке этих, иногда противоречащих, данных дела. Средством, обеспечивающим, и при этой почти неизбежной наличности в каждом деле известных противоречий, отыскание истины и является введение в процесс в самый решительный его момент, в момент рассмотрения дела судом, состязательного начала. Наличие данных, говорящих в сторону виновности подсудимого, как бы олицетворяется в лице обвинителя — прокурора, наличие данных, говорящих в пользу невиновности подсудимого; — в лице защитника. Ведется, таким образом, состязание данных дела, серьезно поставленных и логически освещаемых, — и в результате суд, — «по внутреннему убеждению, основанному на совокупности всех обстоятельств дела, обнаруженных на судебном следствии», — произносит свой приговор. Наш закон делал все, чтобы довести судебный процесс до осуществления в нем требований высшей справедливости, и вся задача судебных деятелей сводится к тому, чтобы этот идеально построенный процесс провести в жизнь. Для этого каждый из деятелей судебного процесса должен безукоризненно выполнить свое назначение. Следователь должен быть беспристрастным искателем истины, — «обязан с полным беспристрастием приводить в известность как обстоятельства, уличающие обвиняемого, так и обстоятельства, его оправдывающие.» Прокурор должен быть прокурором, как его идейно представляет закон, т.е. блюстителем закона. Прокурор, который выше этой идейной роли поставит, например, свои личные либеральные тенденции, — уже не идейный служитель правды. «Прокурор, трепещущий на суде, что он недостаточно либерален, — наш, наш», говорит Петр Верховенский («Бесы»). Защитник должен с пол-

ным вниманием взять из дела все, что так или иначе может говорить в пользу его подзащитного. Но, опять же повторяю, и при самой идеальной постановке процесса ошибки возможны, ибо судебные деятели люди и, как люди, могут ошибиться, — но при идеальном отношении к делу эти ошибки могут быть сведены к минимуму и больше этого от людей требовать нельзя. Скажу еще определеннее: если, и при идеальном отношении к процессу, ошибка все же произойдет, то она не ляжет на совесть того, кто ошибся, ведь он сделал все, что было в силах человеческих. Возможность ошибок, и при идеальном отношении к делу судебных деятелей, объясняется несовершенством судебного материала, с которым приходится иметь дело в уголовном процессе. Этот вопрос о свойствах судебного материала и о его несовершенствах я, насколько могу, постараюсь осветить отдельно.

IV

Судебный материал, с которым приходится иметь дело на уголовном процессе, складывается: 1) из объяснений и показаний обвиняемых, 2) из показаний свидетелей и потерпевших, 3) из так называемых вещественных доказательств, при оценке которых часто большую роль играет 4) экспертиза. Об каждом из этих видов судебного материала надо поговорить особо.

Содержанием для этого отдела я возьму не только данные уже приведенных мною процессов, но и данные других дел того же периода 1902- 1911 гг., мною не упомянутых, и данные дальнейшего моего судебного опыта: за свое пребывание в военно-учебном ведомстве (1911-1918 гг.) я несколько раз выступал защитником, по приглашению, по уголовным делам в военно-окружном суде, а затем, с 1919 по 1920 г., до Крымской эвакуации, в Добровольческой армии, вернувшись в военно-судебное ведомство, я последовательно исполнял должности военного следователя по особо важным делам при Главном военном прокуроре, военного прокурора постоянного отделения военно-окружного суда при Ставке Главнокомандующего и военного судьи Севастопольского военно-морского суда.

Итак, перехожу к отдельным видам судебного материала.

1) Объяснения и показания обвиняемых. Естественно, обвиняемый — один из главнейших факторов процесса. Независимо от вопроса общепринципиального характера о значении или важности того или иного преступления, как нарушения правового порядка или как нарушения прав или благ отдельных лиц, не менее серьезное место в процессе занимает судьба самого обвиняемого. Для обвиняемого вопрос его обвинения или оправдания часто вопрос жизни. Нельзя смотреть так, что только серьезные наказания, — например, каторжные работы или арестантские отделения, — ломают жизнь осужденных;

жизнь осужденного может сломать и самое незначительное наказание, определяемое ему приговором суда, и не потому только, что он, например, известное время будет не на свободе, а в тюрьме, а потому, что самый факт заключения в тюрьму, самое соприкосновение осужденного с тюремной обстановкой и с тюремной средой может оставить на нем неизгладимое на всю жизнь впечатление. Нельзя при этом не учитывать и морального значения осуждения, ибо оно безусловно накладывает на осужденного известное пятно, которое, в общественном к нему отношении, может держаться очень долгое время. Нельзя не учитывать и того иногда потрясающего влияния, которое, — как я уже имел случай указать, — может иметь осуждение обвиняемого на лиц, ему близких, с ним связанных. Не говоря уже о более страшных формах этого влияния, как, например, указанные мною в деле А-берга, даже простое осуждение человека в краже, в мошенничестве, может совершенно разрушить весь нормальный быт его семьи, — разве легко, например, детям узнать, что их отец вор, что их отец мошенник? Впрочем, мне, может быть, скажут, что я здесь преувеличиваю; разве, скажут мне, неизвестны случаи, когда на осужденного никакого влияния не оказывает отбываемое им наказание, что, например, посидит человек в тюрьме и ему это как с гуся вода, что бывает даже так, что человек весной и летом живет себе прекрасно на тепле и на солнышке, а к поздней осени, на зиму, совершенно не прочь попасть в тюрьму, на даровые хлеба, в привычную компанию? Да, бывает и так, но ведь это же, конечно, уродливости жизни, и решать вопрос надо не по ним, а по тем последствиям, которые связаны с осуждением для людей с более или менее нормально развитыми чувствованиями и отношением к жизни, для таких людей, как и для их близких, повторяю, вопрос осуждения или оправдания имеет громадное, исключительное значение.

Итак, личность обвиняемого имеет громадное значение и интерес в процессе. Теоретически рассуждая, с заявлениями и показаниями обвиняемого надо исключительно серьезно считаться, — но для того, чтобы можно было практически обосновывать главным образом на них разрешение дела, надо иметь уверенность, что вы от обвиняемого слышите правду. К сожалению, это большая, очень большая редкость. Наш закон предполагает даже «явку с повинной» и «чистосердечное, соединенное с раскаянием, сознание обвиняемого». Боюсь, что эти идеальные возможности основаны только на далеких прошлых или рассчитаны на далекие будущие времена. Я, по крайней мере, за всю свою судебную практику, не знаю ни одного случая явки с повинной и ни разу не слышал чистосердечного, соединенного с раскаянием, сознания обвиняемого. Не сочту же я «раскаянием» эти вопли Щекова, о котором я упоминал в 1-м отделе, — «казните меня, накажите меня, я вор, я мошенник!» — ведь это же была, очевидно, своего рода мошенническая проделка, рассчитанная на слабые нервы судей. Один раз я слышал, впрочем, нечто в роде раскаяния: обвиняемый, все время на следствии и на суде даже бравировавший своим преступлением, после моей обвинительной речи сказал: «Я только теперь понял, какую я гадость сделал!» — но, думается мне, что это было только минутное просветление сознания, так как вслед за этим он объяснил, что теперь уже больше он ничего подобного не сделает, но не потому, что понял всю преступность своего поведения, а лишь затем, чтобы не подвергаться снова таким неприятным последствиям, как суд. Другой раз я встретился с очень оригинальным явлением: обвиняемый офицер, признавая факт совершенного им нарушения закона, не признавал себя «виновным», а считал, себя героем, сделавшим великое дело. Дело шло чисто формальном преступлении — он обвинялся в вступлении в брак без разрешения начальства, — и он

даже приготовил и написал речь, которую скажет перед судом, и был очень обижен на меня, когда я, как его защитник, посоветовал ему все это бросить и просто на суде признать себя виновным и рассказать, по каким основаниям он именно так поступил.

Итак, к сожалению, «чистосердечного, соединенного с раскаянием, сознания подсудимого» я не слышал. Не так часто и простое, хотя бы и без раскаяния, сознание подсудимых. В 1906 г. в Екатеринославской сессии было рассмотрено около 60 дел и, если не ошибаюсь, ни по одному из них ни один из обвиняемых, — а их было по 5, по 6, раз 15 и раз 80, — не признал себя виновным. Чаще, сравнительно, обвиняемый признает себя виновным на следствии и тогда с этим признанием переходит и на суд; очень редко не сознавшийся ранее обвиняемый признает себя виновным на суде, но и в обоих этих случаях признание себя виновным является, обыкновенно, не результатом раскаяния или какого-либо идейного побуждения, а результатом того, что обвиняемый видит, что уже скрыть преступления нельзя, иногда уже у него просто не хватает фантазии изворачиваться, так уже ничего другого не остается, как сознаться, — все-таки, это может послужить основанием к смягчению наказания.

Помню в этом отношении характерный случай. В Одессе один аптекарский ученик из аптекарского склада, находившегося на Ришельевской улице, близко от Дерибасовской, обвинялся в хранении, с революционными целями, оружия и взрывчатых веществ. Предметы эти были найдены у него в довольно большом количестве запрятанными в разных местах его квартиры в Павловском здании, недалеко от вокзала, частью под полом, частью на чердаке, причем, например, некоторое число револьверов хранилось в разобранном виде, бомбы были или в разной степени готовности, или в отдельных составных частях.

Он не отвергал, что все это оружие, бомбы и взрывчатые вещества принадлежат ему, но виновным себя не признавал, заявляя, что это он держал на случай погрома со стороны «черносоптенцев», для «самообороны»; выходило так, что, если бы начался «погром», то он побежал бы со службы домой (а это около 1½ верст), там бы привел все свои средства самообороны в надлежащий вид, явился бы с ними на место «погрома» и стал бы обороняться. Я, как прокурор, в речи своей сказал, что этим объяснением он мне напоминает Некрасовского «Дядю Мазая», охотника за зайцами:

«Ежели зайца теперь сослежу, Прежде я сяду, ружье положу, Над уголочками руки погрею, Да уж потом и палю по злодею.»

Видимо, ему самому это сравнение понравилось, — он усмехнулся. Присужден он был к 15 годам каторжных работ. На следующий день, при объявлении приговора в окончательной форме, председатель, объяснив ему возможные случаи кассационного обжалования приговора, спросил его, будет ли он подавать кассационную жалобу. Подсудимый вслух проделал такой расчет: «23 и 15, — тридцать восемь... молодой человек... нет, не буду», т.е., другими словами, рассчитал, что теперь ему 23 года, да прибавить 15 лет каторги, выйдет оттуда 38 лет, еще молодым человеком, — не стоит и жалобы подавать! Видите, как спокойно он отнесся к приговору, — совершенно ясно, что он сам ни на минуту не сомневался, что его объяснениям нельзя поверить, что он будет осужден, и только так, на самый крайний случай, решил не сознаваться, — а ну как, может быть, почему-нибудь возьмут да и поверят и оправдают!

Таким образом, несмотря иногда и на наличность несомненных данных виновности, обвиняемые предпочитают, на всякий случай, не сознаваться. Это, конечно, их дело. Сознания их никто ни требовать, ни домогаться не будет, да и закон это

категорически запрещает. Подсудимый может, на суде даже молчать и не давать никаких объяснений по делу, закон указывает, что молчание подсудимого не может считаться признанием им своей вины, и даже запрещает задавать не сознающемуся подсудимому вопросы, по обстоятельствам дела. И эта точка зрения закона совершенно понятна, — он никаким образом не допускает обстановки, которая могла бы говорить о каком-либо «домогательстве» сознания подсудимого во вред ему. Однако, молчание подсудимых, создает подчас очень тяжелое положение для суда и, по моему мнению, широкое им пользование часто даже вредит подсудимым. Ведь во всяком самом обыкновенном житейском деле, если на кого-либо бросается какая-нибудь тень, вполне естественно, что к этому лицу будет обращен вопрос, правда ли то, что про него говорят, и если он на все Ваши вопросы будет только молчать, то, понятно, создается впечатление, что выяснение этого дела для него невыгодно, т.е. создается впечатление не в его пользу; гораздо естественнее, если человек, услышав неправильный на себя навет, будет решительно протестовать против него, и эта сила и, в особенности, направление протеста будут чаще всего говорить в его пользу; исключение может быть только в тех случаях, когда молчание человека, хотя бы и во вред себе, объясняется нежеланием сказать что-либо задевающее другое лицо, чистым именем и спокойствием которого он дорожит; за такое молчание его никто, конечно, упрекнуть не может. Перенесите эти житейские соображения на процесс и Вы поймете, что и в процессе молчание подсудимого, если к этому нет исключительных оснований, часто может служить ему во вред. За признание им своей вины никто из судей его молчания не сочтет, но неприятное впечатление от него во многих случаях может остаться, ибо прежде всего такое молчание может рассматриваться как прием, направленный к затруднению отыскания в деле истины.

Особенно, помню, неприятное впечатление оставило молчание всех 80-ти подсудимых по Александровскому делу — в течение 5–6 дней никто из них не дал ни одного объяснения ни на одно из показаний свидетелей и не сделал ни одного заявления, и только после того, как я выразил удивление, что они так безучастно относятся к такому важному для них моменту, как судебный процесс, что, мне кажется, в их же интересах, по крайней мере, опровергать то, что, может быть, приписывает им большее участие в деле, что обязательное присутствие на суде обвиняемых установлено в их же интересах, а полное их безучастие равносильно их отсутствию, и что, наконец, судебное заседание не есть какое-либо решение ребуса или загадок, а имеет целью выяснение истины и, в частности, и в интересах самих обвиняемых, — некоторые из них стали принимать участие в процессе, делать заявления, и, безусловно скажу, к своей пользе.

Итак, повторяю, конечно, все дело поведения подсудимого на суде его личное дело, — добиваться его сознания или самообличения никто не будет, — но, если суд сделает какой-нибудь неправильный вывод благодаря особым приемам молчания или самозащиты подсудимых, это будет не его вина.

2) Показания свидетелей. Показания свидетелей, — и потерпевших от преступления лиц, если таковые были, — очевидно, должны играть главенствующую роль в уголовном процессе. Свидетели являются той именно общественной средой, в которой совершается преступление, потерпевшие — это именно те лица, в защиту прав и благ которых выступает уголовный закон. Естественно, эти лица и должны дать суду всю правду о деле, на основании их показаний суд, как объективный и верный хранитель закона, должен произнести свой приговор. И именно необходимо, чтобы эти лица давали суду всю правду, и

только правду, о деле. Всегда ли это бывает так? К сожалению, далеко не всегда.

Причины известного уклонения от истины свидетелей, — я вообще, для краткости, буду говорить о свидетелях, понимая под тем и потерпевших, — могут быть двойки: неспособность схватить в своем наблюдении истинную обстановку события, и нежелание сказать суду правду, или, как разновидность этого, сознательное заявление суду неправды. Каждого из этих вопросов я коснусь в отдельности.

Неспособность схватить в своем наблюдении истинную обстановку событий является, почти без исключения, общечеловеческим свойством, — разница здесь между людьми только количественная: один не схватит деталей, а другой не схватит даже и самого существенного. В этом, я думаю, каждый имел возможность неоднократно убедиться из собственного опыта. Всякий инцидент в каком-либо обществе, всякое происшествие на улице, даже всякий разговор между двумя людьми, получают, в освещении разных, передающих их, лиц, различные оттенки, и иногда даже передача бывает настолько различна, что передающие сами между собой могут спорить, что было так-то, а не так. Причина этого, естественно, заключается в ограниченности человеческого внимания, в неспособности сосредоточивать свое внимание на наблюдаемом явлении, и в свойственной человеку особенности к внешним наблюдениям прибавлять свои собственные мысли, мнения и убеждения. Эти собственные мысли, мнения и убеждения часто действуют настолько сильно, что, параллельно с тем, что фактически наблюдает данный человек, его мысль создает иную картину, заслоняя действительную, и этой, созданной самим человеком, картине он всецело верит, — он верит, что именно так он видел или слышал, что именно так было. Произведенные в этом отношении опыты дали поразительные результаты. Приведу два таких

опыта, — к сожалению только, не могу вспомнить, откуда я их взял, и не могу вспомнить полностью всех данных.

Первый опыт заключался в следующем. Профессор юридического факультета, — именно с целью испытать наблюдательность своих слушателей, студентов 3-го или 4-го курса, — сговорился с своим ассистентом, что они между собою, в аудитории, инсценируют ссору, а затем студентам будет предложено, каждому в отдельности, точно написать, что именно между ними произошло. Весь порядок и все детали ссоры были заранее условлены, разучены и запротоколированы. В одну из лекции затем профессор и ассистент эту ссору и разыграли, причем третье лицо по протоколу следило за точностью выполнения. В результате оказалось, что в своих ответах, из присутствовавших при этом опыте что-то около 400 студентов, только три или четыре совершенно правильно передали происшедшее, в передаче же остальных была значительная доля неточностей и фантазии. И это была аудитория таких интеллигентных наблюдателей, как студенты-юристы 3-4 курса! и это было по поводу такого явления, которое, несомненно, полностью привлекло их внимание и наблюдению над которым им ничто не препятствовало!

Другой опыт, если не ошибаюсь, был произведен в Миланском театре, т.е. одном из самых больших по вместимости. После представления трагедии Шекспира «Юлий Цезарь» к присутствовавшим в театре была обращена просьба написать, как именно произошла на сцене смерть Юлия Цезаря; конечно, вероятно, отозвались не все, но все же была получена масса описаний и из них совершенно точными оказалось только два или три. И опять же ведь в театре присутствовала интеллигентная публика, специально пришедшая на трагедию и, конечно, особенно заинтересовавшаяся этим ярким местом пьесы и с особым вниманием за ним следившая.

Это отсутствие должной наблюдательности каждый может проверить на себе и на своих знакомых путем довольно уже известного опыта с часами. Если Вы еще этого опыта не знаете, то сделайте его за мной, постепенно делая то, что я буду говорить, и не заглядывая в дальнейшее мое изложение; лучше даже закройте дальнейший текст бумажкой. Ответьте сначала на мои вопросы: Есть у Вас карманные часы? Давно они у Вас? Какие они, — закрытые или открытые? золотые, серебряные или стальные? Циферблат черный или белый? Какие цифры на циферблате, — римские или арабские? Теперь возьмите карандаш и пишите по моим вопросам. Как у Вас написана цифра 5? Как написана 8? Как написана 9? Как написано 4? Как написано 6? — А теперь посмотрите на свои часы и сравните их цифры с тем, что Вы написали. Цифры 5, 8 и 9, я думаю, Вы написали правильно. А как написали цифру 4? — если у Вас римские цифры, то, на 80% вероятия, Вы ее написали «IV», а не «III», как стоит на циферблате! А как стоит у Вас на циферблате 6? — да ее, на большинстве часов, и совсем нет на циферблате, ее место занимает секундный круг, — а ведь Вы ее, вероятно, написали? Видите, как оказалось мало у Вас наблюдательности, да еще по отношению к вещи, может быть, уже несколько лет находившейся в Вашем обладании, вещи, на которую Вы ежедневно десятками раз смотрите! В чем же причина Вашей ошибки? — очевидно, в том, что Вы убеждены, что и на Ваших часах все цифры на своих местах и что цифры 4 и 6, при римском начертании, написаны так, как вообще они пишутся, т.е. «IV» и «VI», — и Ваше убеждение Вы считаете несомненным фактом.

Оригинальный случай такого же порядка был и лично со мной. Как-то на целое лето я с семьей уезжал из квартиры. По возвращении осенью мы устроились по-прежнему, разложили вещи. Нанятая вскоре после этого прислуга, пробыв у вас 4-5 дней, нас обокрала, забрала белья, платья, обуви, всякой мелочи

из шкафов и т.д., и скрылась. Ее разыскали, но вещей никаких уже у нее не оказалось. Особенно жена жалела одно ожерелье, очень оригинальное, из какого-то черного, блестящего, граненого камня, и все мы себе совершенно ясно представляли, как и где именно оно лежало в шкафу за несколько дней до кражи. Через несколько месяцев получили мы часть вещей, оставленных нами временно, за время переездов, в одном из городов, — и, представьте себе, в этих вещах оказалось это ожерелье, которое мы считали украденным! Очевидно, мы так раньше привыкли видеть его постоянно на одном и том же месте, что нам уже оно ясно представлялось на том же самом месте и в дни, предшествовавшие краже, — настолько была сильна привычка к определенному виду внутренности шкафа!

Если, таким образом, и наукой и практикой устанавливаются такие, сравнительно грубые, дефекты внимания, то тем более, очевидно, нельзя требовать от человека точного воспроизведения наблюдаемых им данных более тонкого свойства. Например, нельзя требовать от среднего человека, чтобы он описал чье-либо выражение лица, нельзя даже требовать, чтобы он описал вообще наружность кого-либо, — это, как я уже и раньше говорил, могут сделать только лица, специально изучающие человека, например, психиатры, художники. Обыкновенно нельзя даже требовать и точного указания, например, цвета костюма; мужчины вообще часто различают только вполне определенные цвета, — черный, белый, синий, желтый и т.д., — и для них, например, совершенно непонятны некоторые оттенки или смешанные, переходные цвета, — например, «желтовато-серый», — тогда как дамы, в большинстве случаев, в этом отлично разбираются.

Эту ограниченную способность человека в восприятии впечатлений, неизбежное различие в этом восприятии у отдельных лиц и почти несомненную в каждом отдельном случае

субъективность оценки и обобщения виденного или слышанного на основе своих собственных мыслей, настроения и даже фантазии, отлично знают судебные деятели и потому и не требуют от свидетеля больше того, что он может дать. Поэтому судебные деятели вполне учитывают и понимают известные расхождения и даже противоречия в показаниях свидетелей, — эти расхождения скорее даже служат гарантией того, что каждый передает именно свое непосредственное восприятие. Наоборот, если в деле приходится слышать от ряда свидетелей показания фотографически, до деталей, сходные, это должно быть учтено как признак какого-то процесса, оказавшего на них влияние: или они между собой много говорили по этому делу и, путем перемешивания впечатлений, создали какое-то коллективное представление о деле, забыв о собственных впечатлениях, или же они подчинились какому-либо лицу, изобразившему им дело с точки зрения своего восприятия, и это искусственно им привитое восприятие стали уже считать своим.

Гораздо острее и серьезнее стоит в судебном процессе другой вопрос, — нежелание свидетелей сказать суду правду или умышленное утверждение перед судом неправды. С точки зрения нравственной такое сознательное уклонение свидетелей от истины заслуживает самого жестокого порицания: от суда требуют справедливости, как величайшего общественного блага, а члены общества стараются этот суд ввести в заблуждение! Это тем более безнравственно, что принципиально каждый свидетель признается правдивым, и до тех пор, пока каким-нибудь образом его неправда не будет установлена, суд считается с каждым его словом, готов строить на них свои выводы. Но, кроме того, самая неправда на суде может быть двоякого рода: или она направлена во вред подсудимому, или на пользу его. Хотя ложь, как ложь, всегда отвратительна, но между этими двумя видами лжи все же разница громадная: ложь на пользу

подсудимого еще может быть понятна с точки зрения человеческого обывательского мирозерцания, — «как не порадеть родному человечку», — и часто она проявляется вследствие отсутствия надлежаще развитого сознания, когда человеку интересы момента или привычной обстановки дороже отвлеченных принципов нравственного достоинства и справедливости; но сознательная ложь во вред подсудимому, с целью подвести под ответственность невинного или сгустить тяжесть вины, есть преступная игра на человеческой крови, несмыаемый позор, свидетельство глубокого морального падения ложного заявителя. К счастью, все-таки, такие случаи ложных показаний во вред подсудимому сравнительно редки и, что характерно, бывают они, обыкновенно, не со стороны потерпевших от преступления, а со стороны «добровольных уличителей». Один из случаев такого ложного заявления я приводил уже в деле Бе-ка, — ложное заявление девицы, знакомой Бе-ка, которым она оговаривала Морозова; тут еще могут говорить в ее извинение, что она хотела таким путем спасти Бе-ка, но ложь все же оставалась безобразной и даже и после того, как она на суде от нее отказалась и рассказала историю ее возникновения.

Затем с особенно резкой ложью свидетелей против подсудимого я столкнулся в одном из своих последующих выступлений в роли защитника. Все дело против моего подзащитного было создано показаниями этих свидетелей и, к сожалению, следователь подчинился яростности их нападков, не разобрав, что причина их — месть за то, что перед тем их мой подзащитный, тогда их начальник, предал суду за их темные хозяйственные операции и один уже из этих свидетелей, к моменту настоящего дела, был осужден в арестантские отделения. Обвинений была создана масса, и все тяжелые. На суде, конечно, картина выяснилась скоро. Одна из свидетельниц, дававшая массу обви-

нительного материала, но на суд не явившаяся, сама себя отлично аттестовала еще в период следствия: «когда я», сказала она, «один раз была по делу моего мужа у присяжного поверенного такого-то, то на другой раз он меня не велел принимать». Другой свидетель прямо с наслаждением говорил все, что только можно придумать во вред обвиняемому; прокурор, видя в его заявлениях много обличительного материала, целый ряд его заявлений по делу занес в протокол судебного заседания. Затем начал его допрос я, как защитник, и под моими вопросами этот свидетель должен был отказаться от всех своих прежних показаний, и с его же слов я, в том же порядке, занес в протокол его заявления, последовательно совершенно опровергавшие все то, что было занесено прокурором. В результате целого ряда таких показаний, прокурор, — человек очень живой и остроумный, — на обращенный к нему вопрос, как идет дело, ответил: «Хорошо идет, М.С. (т.е. я, защитник) громит мерзавцев, а я их защищаю», — так он определил тех лиц, которые давали по делу обвинительный материал.

Затем в своей следовательской работе я один раз встретился с очень грубой и неприятной формой сговора свидетелей. Обвинялись по делу рядовой в нанесении удара унтер-офицеру, а унтер-офицер в нанесении удара рядовому. Свидетелей было много, что-то около 30, причем они почти точно поделились пополам — одни утверждали, что только унтер-офицер ударил рядового, другие — что только рядовой ударил унтер-офицера, — и при этом показания каждой половины были до деталей сходны, точно заучены. Сразу стало ясно, что тут сговор и что, по-видимому, в каждой группе был свой руководитель. Надо было, конечно, этот сговор разбить, и, так как я считал, что, в данном случае, в смысле воздействия, большое значение имеет роль унтер-офицера, я решил потребовать перевода этого ун-

тер-офицера в другую роту, написал в этом смысле свои соображения командиру полка и объявил свое решение унтер-офицеру. Это произвело на него громадное впечатление, он просил, если можно, вернуть пакет, обещая сказать правду, и затем признался, что только он один виноват, что, действительно, он ударил рядового, а рядовой ему удара не наносил. — Случай этот оставил у меня очень тяжелое впечатление: даже и ложь этого унтер-офицера, хотя бы и в свою защиту, была непростительна, ибо он хотел избавиться от ответственности, перекладывая вину на невиновного, но ложные показания поддерживавших его свидетелей являлись уже возмутительно-безнравственными.

О ложных показаниях в пользу обвиняемого я уже говорил отчасти раньше, — я указывал на «алибистов», щедро выставившихся чуть не по каждому делу, указывал и на свидетеля-инженера, дававшего свои совершенно противоречащие показания по делу о забастовке на ст. Пологи и Мечетная и по делу о забастовке на ст. Синельниково. В отношении таких свидетелей у обвиняемых даже было выражение: «я имею своих свидетелей, которые покажут то-то и то-то». Особый род ложных показаний в пользу обвиняемых представляют показания, вынуждаемые угрозой или террором, о которых я также уже говорил раньше; здесь иногда бывала на лицо действительная опасность показать на суде правду, и потому уже трудно было ставить эту ложь в упрек свидетелям, — нельзя же требовать от обыкновенного человека геройства, — и все моральное осуждение за такую неправду на суде ложится, конечно, на тех, кто так преступно давил на совесть свидетелей.

Один раз мне пришлось видеть замечательный случай организованной, продуманной лжи свидетельницы. Обвинялся студент У-нский в принадлежности к революционному сообще-

ству, в составлении и распространении прокламаций революционной партии. Он был задержан как раз в момент составления новой такой прокламации. Сам он как-то неопределенно уклончиво говорил о своей деятельности, но у него было найдено еще не законченное письмо к одному из его знакомых, где он пишет, что теперь партия разбилась, из прежних работников осталось всего человек 20, да и то сравнительно бездеятельных, и ему очень трудно, при таком положении, сделать что-нибудь реальное в пользу партии, но, сколько может, он работает; письмо начиналось, приблизительно, так: «не знаю, найдет ли Вас это письмо; Вы так давно мне ничего не сообщали, что я не знаю, где Вы теперь; пишу наугад, по старому адресу; хочется все-таки, сообщить Вам, что.... и т.д. В деле этом фигурировала одна молодая барышня, знакомая У-нского; она при допросах гораздо горячее его высказывала свои симпатии к революционной деятельности и даже заявляла, что просит ее привлечь к ответственности; ее и привлекли в качестве обвиняемой жандармские власти, но я в отношении ее дело направил к прекращению, так как никакой ее принадлежности к революционной партии не устанавливалось, а за идеи и симпатии закон не наказывал. Таким образом на суде в качестве обвиняемого фигурировал только У-нский, а барышня эта, вышедшая к тому времени за У-нского замуж, явилась на суд в качестве свидетельницы со стороны защиты. Защищало У-нского два присяжных поверенных. Он виновным себя не признал, но опять-таки не давал ничего существенного и в свое оправдание. Вся защита выполнялась этой свидетельницей, теперь женой. Небольшого роста блондинка с кроткими глазами, она тихим, ровным голосом давала ответы на все вопросы, которые, по обстановке дела, можно было уже заранее ожидать с моей стороны, и на все вопросы, обращенные к ней защитниками, и ее ответы и заявления производили впечатление подкупающей искренности. Она

заявила суду, что весь обвинительный материал по делу создан исключительно благодаря ее тщеславию: ее воображению еще с гимназии постоянно рисовался красивый облик революционерки, борющейся с насилиями и произволом правительства; тогда же она познакомилась и с У-нским и ее захватила идея видеть в нем героя-революционера; много они об этом говорили, но он не имел в себе таких революционных порывов, и она, не желая проститься с созданною ее воображением мечтою, все время старалась разбудить в нем этот огонь идейной борьбы; так и возникли те прокламации, которые он писал: они вовсе не предназначались для распространения, а написал он их только по ее просьбе, — «вот другие так красиво, так хорошо пишут, — неужели же ты не можешь?» — и вот, в угоду такому ее тщеславию, он и написал; ни к какой партии он не принадлежал, — все их настроение не выходило за пределы их разговоров. «Скажите, пожалуйста», спросил я ее, «а что же значит тогда это письмо,» которое было найдено у г. У-нского, где он пишет товарищу или знакомому, что работа в партии приостановилась, затруднена, но что, все-таки, насколько может, он работает?» — «Ах, в этом письме тоже я виновата. У него был один товарищ, который знал его по гимназии и который состоял в революционной партии и очень верил в У-нского, верил, что и он будет ему помощником. Недавно этот товарищ написал ему письмо, где спрашивал, неужели он навсегда простился с своими революционными мечтами и не вступит в ряды борцов. У-нский хотел написать ему, что он никакой революционной деятельностью не занимается, но мне стало жалко, если этот товарищ, так в него веривший, в нем разочаруется, и я тогда убедил его, чтобы не разочаровывать товарища, написать ему такое письмо, т.е. написать, что он все-таки работает в партии и т.д.» — «А где же это письмо этого товарища?», спрашиваю я. — «Как где? Оно здесь же в деле», ответила она, «оно было при

обыске взято жандармами». Я попросил суд удостовериться по подлинным вещественным доказательствам и по протоколу, что такого письма на имя У-нского взято при обыске не было. Впечатление на суд все такие заявления г-жи У-нской произвели громадное, — все поверили ее искренности, поддерживаемой еще тем, что она признавалась в своем тщеславии, — поверили все, кроме меня, для меня же было ясно, что здесь налицо умело сфабрикованная и хорошо разыгранная ложь. Я и начал свою речь с того, что вижу впечатление, которое произвели на суд ее объяснения, вижу, что все им поверили, и что, может-быть, им поверил бы и я, если бы не видел так ясно скрытой за ее видимой искренностью лжи. Для начала я напомнил эту сцену с письмом этого неизвестного товарища. «Г-жа У-нская так хорошо объяснила происхождение этого письма У-нского, — но где же письмо этого его товарища, на которое он отвечал? Она утверждает, что оно здесь, что его взяли при обыске. Она удивилась, почему этого письма здесь не нашли. А я объясню, почему его здесь не нашли, — потому что его и не было! А что его не было, видно уже из самого письма У-нского, — ведь он писал, что давно от этого товарища не имеет вестей, что пишет наугад по старому адресу, потому что хочется с ним поделиться и т.д. Так ли пишут ответ на только что полученные письма? Что же стоит эта видимая искренность г-жи У-нской?» — и затем последовательно разобрал сущность улик против У-нского и «искренние» объяснения г-жи У-нской. После моей речи защитники и не пытались говорить об его невиновности, признали, что г-жа У-нская, действительно, покривила душой, — «но ведь это же так естественно, она ему жена, она его любит, вполне понятно ее желание спасти его.» «Да и он сам теперь», сказала защита, «создал себе свою семейную жизнь, и уже, конечно, никогда больше ни о какой революционной партии думать не будет»,

— и просила об оправдании. В возражении я им ответил: «Защита, признав виновность подсудимого, просит об его оправдании? Оправдан может быть только невиновный. Следовательно, защита, под видом оправдания, просит и помилования, — а право помилования суду не предоставлено.» Суд, признав У-нского виновным, приговорил его к минимальному наказанию.

Все эти случаи неправды па суде со стороны свидетелей явление очень печальное. Судебным деятелям, подходящим к свидетельским показаниям с принципиальным к ним доверием, приходится часто в этом разочаровываться и искать истину не в этих показаниях, а где-то вне их. Какую же роль играют свидетели, приходящие в суд, чтобы увести суд от правды, вместо правды подставить ему ложь? Если речь идет о ложных показаниях, которые дают жена, отец, мать, брат подсудимого, в его пользу, то это, может быть, скажут мне, простительно, — от них жестоко было бы требовать, чтобы они говорили правду, которая погубила бы близкого им человека. С этим согласен, но ведь им же закон ради этого и предоставляет право отказаться от дачи показаний. Но между тем, чтобы не показать правду, которая могла бы погубить близкого им человека, и тем, чтобы показать неправду в его защиту, все-таки есть большая разница; неправда все же остается не-правдой. Закон, впрочем, понимает и эту возможность, что им трудно удержаться от желания всеми способами помочь своему близкому, и, чтобы не отягощать их совести, устанавливает допрос их без присяги. А что же сказать о лжи, которая дается суду другими свидетелями? Где для нее оправдание? И ведь эта ложь посторонних людей дается ими под покровом присяги! Принимая присягу, свидетель-христианин говорит: «Обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом, пред святым Его Евангелием и животворящим крестом, что, не увлекаясь ни дружбою, ни родством, ниже ожиданием

выгод или иными какими-либо видами, я по совести покажу в сем деле сущую о всем правду и не утаю ничего мне известного, памятуя, что я во всем этом должен буду дать ответ пред законом и пред Богом на страшном Суде Его. В удостоверение же сей моей клятвы целую слова и крест Спасителя моего. Аминь». Каким глумлением над этой присягой звучит затем ложь свидетелей, «памятующих, что они во всем этом должны будут дать ответ пред законом и пред Богом на страшном Суде Его!» При теперешнем положении дела лучше уже совсем отменить присягу свидетелей, чтобы не было глумления над великой религиозной клятвой, чтобы не давать недостойным людям играть присягой, как покровом их лжи. Человек честный покажет правду и без присяги.

Единственно реальной формой борьбы с ложью свидетельских показаний явилась бы уголовная кара лжесвидетелям. В законе она и существует, но на практике я ее совершенно не знаю, и понятно, почему: слишком трудно доказать эту сказанную неправду, — восстановить показание слишком затруднительно, установить, в чем оно идет против истины, еще труднее, да если бы и это было установлено, кто же помешает привлеченному за ложь сказать: «нет, я не лгал, я просто ошибся»?

Особым видом исходящих от людей доказательств являются так называемые «агентурные сведения». Эти сведения, собираемые, в порядке наблюдения, жандармскими управлениями и охранными отделениями по делам политического характера или путем официальных чинов этих учреждений, или с помощью т.н. «филеров». Эти сведения я признавал только как определяющие ход самого расследования на дознании или следствии, равно как и сыск в делах чисто уголовных. Характер свидетельских показаний я признавал за ними только тогда, когда лицо, сообщившее эти сведения, являлось на суд и давало свое показание о всем ходе и результатах своего наблюдения, —

тогда это лицо являлось в положении действительного свидетеля, показания которого суд может оценивать по связи их с обстоятельствами дела и по впечатлению от его личности. Если же эти сведения фигурировали в деле лишь в виде агентурных сообщений, то я считал, что это были «сведения, неизвестно от кого исходящие», которыми закон запрещает пользоваться, и в смысле доказательств ими никогда не пользовался.

3) Вещественные доказательства. Под этим именем я буду здесь разуметь не только то, что строго под этим термином понимается в юридической литературе, т.е. предметы, которые носят на себе следы преступления, но и все вообще материальные предметы, которые так или иначе могут способствовать освещению данного преступления. Эти немые свидетели часто много и много лучше говорящих, — у них нет своего мнения, они не скажут неправды. Но ими надо очень умело пользоваться, подходить к ним надо с безукоризненной логической оценкой, — нелогичное или ошибочное их освещение привело бы на совершенно ложный путь.

Громадную роль в качестве именно такого вещественного доказательного материала играют документы, — документы всякого рода, правильные и подложные, официальные и неофициальные, существовавшие ранее или специально *ad hoc* составленные, уличающие или оправдывающие, письма, заметки, расчеты и т.д. Помню, по одному делу с 7 обвиняемыми я, отбросив все несущественные на мой взгляд доказательства, — сомнительные опознания, агентурные сведения, — сосредоточил все внимание на трех, имевшихся в деле, записках обвиняемых, и, с помощью, их, путем логического их толкования, удалось настолько несомненно установить виновность 5 обвиняемых, что защита уже ее не оспаривала. Другой раз, помню, мне пришлось производить следствие по делу, где писарь Управления

воинского начальника, путем очень ловко проведенных изменений в книгах и списках, устроил перевод одного из чинов запаса, кажется, в состав ополченцев 2-го разряда, т.е. в такую категорию, которая подлежит призыву по мобилизации только в самых исключительных случаях. Правда, перед тем, как отправляться на следствие, я в течение 3-4 дней специально изучал всю технику делопроизводства Управления воинского начальника, но зато результат был прекрасный: подлоги были установлены с такой математической точностью, что присутствовавшие при моем осмотре понятые сказали: «Ваше Благородие, да как же он (т.е. обвиняемый) не сознается!»

Один раз в своей следовательской практике я столкнулся с очень оригинальным случаем. Мне было поручено произвести следствие об одном довольно крупном должностном лице, в деятельности которого подозревались существенные злоупотребления по хозяйственной части. Сначала, естественно, я обратил внимание на те вопросы, которые были затронуты предшествовавшим инспекторским расследованием, при котором были обнаружены подчистки в книгах, неправильные итоги и т.д. Обвиняемый сделал вид, что он очень обеспокоен, что открылись такие грехи в его отчетности, и я, последовательно идя от одной, цифры к другой, должен был проделать громадную работу, произвести массу подсчетов, но в результате я убедился, что тут никакого подлога нет, а, самое большее, безалаберность, и обвиняемый преувеличенно легко вздохнул: «Ну, Слава Богу, что Вы разобрались, а то я уже думал, что тут такое в самом деле, никто из нас при инспекторском смотре этого не понял, — а теперь я, конечно, вижу, что это небрежность писаря, да и я виноват, что не досмотрел.» Покончив с одним рядом таких подчисток и неправильных переносов, перешел я к другому, — и опять та же картина: после целого ряда подсчетов и сопоставлений прихожу к убеждению, что и здесь никакого подлога нет, а только

известного рода чисто внешняя неисправность, — и опять облегченный вздох обвиняемого, и опять признание, что, конечно, в этой небрежности, он виноват. Тут только я понял, что имею дело с особым приемом: обвиняемый был готов к тому, что его рано или поздно посетит следователь, и поэтому не по небрежности, а очень умно подготовил в своей отчетности ряд этих, бросающихся в глаза неправильностей, подчисток и т.д., в расчете, что следователь сразу бросится на них, а потом, достаточно помучившись, убедится, что никаких подлогов нет, и отступится, а настоящие, совершенно в другой области и другого свойства, злоупотребления останутся в стороне. Поняв это, я перестал пользоваться тем материалом, который мне любезно предоставлял обвиняемый, а пошел уже по своему пути и, опечатав один шкаф, нашел в нем много очень исправно составленных документов, частью заключавших в себе, а частью покрывавших несомненные и серьезные злоупотребления.

Такого рода приемы отведения следственных и судебных властей в сторону от истинного виновного или от действительного характера дела, с помощью создания искусственной обстановки, в судебной практике вообще не редкость. Часто, например, на месте преступления намеренно оставляется какая-нибудь вещь, не принадлежащая виновному, в надежде, что она и поведет следствие на ложный путь. Этому же делу создания препятствий к обследованию дела служат т.н. шифры для переписки, когда, например, письмо по внешнему виду не содержит в себе ничего уличающего, и только при расшифровке известных его мест оказывается возможным установить истинное его содержание и значение. С такой системой «зашифровки» уличающего материала я встретился раз в деле об одной революционной группе. В ожидании посещения жандармских и следственных властей эта группа, — прикрывавшаяся чисто-гума-

нитарными и просветительными целями, — всю свою литературу держала совершенно открыто в книжном шкафу вперемешку с произведениями научного и беллетристического характера, и вся эта партийная литература была в переплетах с обложками «Начальная арифметика», «Закон Божий», «Приложения к Ниве», «Основы химии» и т.д. Как видите, целая система: легальные ярлыки книг при революционном содержании и легальный ярлык самой группы при ее преступной работе.

Но, еще раз повторяю, пользование документами для установления истинного характера дела должно быть основано на их всесторонней и непреложно-логической оценке. Одностороннее пользование документами может завести исследующих в сторону самой крайней неправды. В этом отношении очень поучителен один случай из моей последующей практики защитника. Полковник N, по сформировании порученной ему части, передавал заготовленный им фураж в подведомственные ему отделы. Количества передававшегося сена и овса были обозначены в передаточных ведомостях, данных в отделы, а затем, по окончании передачи, об этом количестве переданного было объявлено в приказе по части. Естественно, что эти данные в передаточных ведомостях и в приказе должны были бы совпадать, но тут оказалось, что эти данные не сходятся, а именно:

а) По передаточным ведомостям; б) По приказу о передаче фуража:

а)	б)
1) сена . 2488 пуд. — ф.	1) сена .1244 пуд. — ф.
2) « . 2362 пуд. — ф.	2) « .1181 пуд. — ф.
3) « . 2316 пуд. — ф.	3) « .1158 пуд. — ф.
4) овса 16 пуд. — ф.	4) овса 18 пуд. — ф.
5) « 17 пуд. — ф.	5) « 19 пуд. 05 ф.

Таким образом, если не считаться с незначительной разницей в количестве овса, оказывалось, что сена по передаточным ведомостям значилось переданным в два раза больше, чем по приказу. Отсюда создалась версия, что правильными надо считать данные приказа и что фактически Полковник N передал в отделы сена в таком количестве, как это означено в приказе, а если он по передаточным ведомостям в отделы показал переданным сена вдвое больше, чем значилось по приказу, то, значит, он тем самым перелагал на обязанность своих подчиненных отчитаться впоследствии по вдвое большему количеству сена, чем он им фактически передал, — а значит, он совершил подлог, а подлог этот сделан с целью скрыть, что на самом деле вся эта разница между количеством сена по передаточным ведомостям и по приказу им присвоена и растрчена. Проверить фактически, сколько было передано сена, уже не представлялось возможности: сено было передаваемо в стогах, при передаче не перевешивалось и самый вопрос о неправильности передачи возник лишь много спустя после самой передачи, когда все сено было уже давно израсходовано; при самой передаче принимавшие расписались в передаточных ведомостях в приеме полного количества означенного в них сена и ни о каких неправильностях данных 5 ведомостей вопроса не поднимали. Следственная власть восприняла эту версию и предъявила полковнику N обвинения в растрате сена и в подлоге для сокрытия этой растраты. Полковник N утверждал, что данные передаточных ведомостей безусловно точны, что они были основаны на фактическом состоянии заготовленного им сена по данным счетов об его покупке, а что, очевидно, ошибка в приказе. Как могла произойти такая ошибка в приказе, он объяснить не мог; не мог объяснить этого и его делопроизводитель, составивший приказ. Обвинительный акт также включил в себя это обвинение в растрате сена и в подлоге с целью сокрытия растраты.

Полковник N обратился ко мне с просьбой принять на себя его защиту. Я долго уклонялся и он понял, почему: я вообще не брал на себя защиты по делам, где не верил в безукоризненную честность обвиняемого. Полковник N поставил мне откровенно этот вопрос, и я ему также откровенно ответил. Так как я дела еще детально не знал, то полковник N попросил меня согласиться на следующее: он за два-три вечера, расскажет мне все свое дело, и, если я после этого не приду к убеждению, что он никакими корыстными преступлениями не замаран, то уже, делать нечего, он признает мой отказ окончательным. Так и было сделано, причем за эти дни я, в интересах своего убеждения, произвел ему самый строгий прокурорский допрос, и убедился, что, безусловно, никаких корыстных преступлений с его стороны нет. Тогда я взял на себя его защиту.

Основательно изучив дело, я прежде всего пришел к убеждению, что созданная против полковника N версия обвинения нелогична: во-первых, она совершенно не объясняет, как бы он мог сознательно вводить такую разницу между данными приказа и передаточных ведомостей, — ведь копии приказа также сообщаются в отделы и, таким образом, если предполагать тут со стороны полковника N злоупотребление, то надо признать, что он сделал все, чтобы оно немедленно было открыто; во-вторых, если данные приказа, как признает эта версия, правильны, — т.е., значит, вполне согласуются со всеми счетами по заготовкам и по расходам, — то, собственно, полковник N только по этим данным и должен был отчитываться, и ему не было никакой надобности и никакого смысла ни самому отчитываться, ни других заставлять отчитываться в большем, против приказа, количестве; такому излишку неоткуда было бы и явиться, а, следовательно, и присваивать и растрачивать было нечего; в 3-х, если несходство данных приказа и передаточных ведомостей, при подозрительности, можно было еще считать умышленным

и признавать подлогом, то совершенно никак нельзя было понять, какой именно способ присвоения предполагает эта обвинительная версия: присвоение могло бы быть вообще только в одной форме, — еслибы, показав по передаточным ведомостям количество переданного согласно правильным данным приказа, он фактически передал бы в отделы сена меньше того, сколько означено по приказу. Таким образом обвинительная версия представилась мне совершенно теоретической, и ни фактически, ни логически не обоснованной. Я с полным доверием остановился на заявлении полковника N, что в данном случае ошибка в приказе, — но мало было этому верить, мало было это утверждать, надо было это доказать.

В качестве исходной точки для разрешения этого я остановился на двух вопросах: почему количество сена по передаточным ведомостям оказалось ровно вдвое больше, чем по приказу? почему в отношении овса имеется явление обратное, — количество овса по передаточным ведомостям меньше, чем по приказу, причем разница здесь — 16 пуд. и 18 пуд., 17 пуд. и 19 пуд. 05 ф., — уже совсем как бы необъяснимая? Я пришел к убеждению что, несомненно, между передаточными ведомостями и приказом о передаче фуража было еще какое-то промежуточное вычисление, и что в нем-то и надо искать разгадку. Я систематически проследил весь процесс передачи и установил, что после передачи фуража был сделан еще особый расчет стоимости переданного фуража. Действительно, я нашел в том же деле приказ с расчетом этой стоимости, — он был дня за два за три до приказа о переданном количестве фуража. Данные этого приказа с расчетом стоимости, буду называть его «денежный расчет», — были следующие:

1) за	сено	.	.	1244	руб.	—	к.
2) «	«	.	.	1181	руб.	—	к.
3) «	«	.	.	1158	руб.	—	к.

4) за овес . . .	16 руб. 80 к.
5) « « . . .	17 руб. 85 к.

Таким образом, в этом денежном расчете цифры стоимости сена в рублях оказывались как раз вдвое меньше цифр количества сена в пудах по передаточным ведомостям (табл. А), и это потому, что справочная цена на сено (опять же я это установил по приказу) была 50 коп. Если все эти данные свести в параллельную таблицу, то получается следующее:

а) По передаточным ведомостям:

1) сена -	2488 п.	- ф.
2) « -	2362 п.	- ф.
3) « -	2316 п.	- ф.
4) овса -	16 п.	- ф.
5) « -	17 п.	- ф.

б) По приказу о передаче фуража:

сена -	1244 п.	- ф.
« -	1181 п.	— ф.
« -	1158 п.	— ф.
овса -	18 п.	— ф.
« -	19 п.	05 ф.

в) По денежному расчету:

за сено	- 1244 р. — к.
« «	- 1181 р. — к.
« «	- 1158 р. — к.
за овес	- 16 р. 80 к.
« «	- 17р.85к.

Стоило только сделать такое сопоставление и все стало ясно: в приказе о передаче фуража (табл. Б) количество сена в пудах показано теми же цифрами, как в денежном расчете (табл. В) стоимость сена в рублях. Имея в виду, что приказ о передаче фуража был написан через 2-3 дня после денежного расчета, можно было уже с достаточной уверенностью утверждать, что ошибка произошла в том, что составлявший приказ о передаче фуража писал его не с передаточных ведомостей, как бы следовало, а с денежного расчета, приняв указанные в этом денежном расчете рубли и копейки за пуды и фунты, и перенес эти рубли в приказ о передаче сена как пуды.

Таким образом в отношении сена вопрос разрешался вполне, оставался еще вопрос об овсе. Правда, в отношении овса разница была незначительная, но для меня вопрос был не в размере этой, разницы, а в том, что это давало возможность проверить правильность моих выводов. Если, думал я, правильна моя мысль о происхождении ошибки в отношении сена, то так же и тем же порядком должно быть объяснено и несходство данных в отношении овса, — и это уже несомненно подтвердило бы, что весь приказ о передаче фуража был списан не с передаточных ведомостей, а с денежного расчета, приняв его рубли и копейки за пуды и фунты. Правильность моей мысли подтвердилась полностью: справочная цена на овес оказалась за пуд 1 руб. 05 коп.; по передаточным ведомостям (табл. А) в п.4 значилось овса 16 пуд., — в приказе о передаче фуража (табл.Б) 18 пуд.; как это произошло? — ясно: в денежном расчете (табл. В) за 16 пуд. овса высчитано, по 1 р. 05 к., 16 руб. 80 коп.; составлявший приказ о передаче фуража взял эти цифры денежного расчета, и, посчитав их за пуды и фунты, счел, что это 16 пуд. 80 фун., т.е. другими словами, 18 пуд., и написал в приказе о передаче фуража 18 пуд. То же произошло и с п. 5 передаточных ведомостей: там стояло овса 17 пуд., а по приказу о

передаче фуража оказалось 19 пуд. 05 ф., — и опять понятно, почему: за 17 пуд. овса, по 1 р. 05 к., в денежном расчете было обозначено 17 р. 85 коп., а, посчитав 1 их за пуды и фунты, составивший приказ о передаче фуража взял их как 17 пуд., 85 фун., т.е. 19 пуд. 05 фун., - и так и перенес их в приказ о передаче фуража как 19 пуд. 05 фун.

Таким образом, вопрос об ошибке приказа о передаче фуража становился уже не предположением, а несомненным фактом, с выясненным точно процессом возникновения этой ошибки, — ошибка и фактически и логически была доказана. Довольно было мне изложить все это на судебном заседании и, конечно, обвинения в подлоге и растрате отпали и полковник N был оправдан. Если бы этой логической критики материала мною произведено не было, целиком бы осталась версия следственного дела и обвинительного акта, одному заявлению полковника N, что в приказе о передаче фуража ошибка, могли бы и не поверить, и, очень возможно, что он был бы осужден. Разве это не гримаса жизни?

4) Экспертиза. При оценке значения вещественных доказательств очень большую роль может играть экспертиза со стороны специалистов, обладающих специальными научными или практическими знаниями в данной области. Юридическая литература знает примеры блестящей экспертизы, с помощью которой устанавливались виновники преступлений. Например, по одному делу на месте преступления был найден кусок дерева какой-то неопределенной формы; следователь заметил, что это не случайный обломок, а специально выработанный кусок; приглашенный эксперт-столяр вполне это подтвердил, заявил, что этот кусок обработан по специальному чертежу и что его обработал столяр-левша. Найденный столяр-левша указал, кто ему эту работу заказывал, и заказчик этот и оказался виновным в исследовавшемся преступлении. В другом случае на месте

преступления была найдена теплая на вате шапка; эксперты, сначала парикмахер, а затем врач, по приставшим внутри шапки волосам, точно установили внешний вид ее собственника, — что это человек лет 45, тучный, с сильно выпадающими волосами, страдающий такой-то болезнью кровообращения и т.д.; по этим данным и был задержан преступник. Особенно ценны, конечно, экспертизы, строго научно обоснованные. Но следовательно, которому приходится прежде всего иметь дело с вещественными доказательствами и их экспертизой, должен всегда иметь в виду, что случайный эксперт может и не оказаться на высоте научных знаний, и мне лично, в виду этого, неоднократно приходилось, до обращения к экспертизе, самому изучать тот или иной специальный, например, чисто медицинский, вопрос через посредство уже несомненных авторитетов в этой области, чтобы суметь направить экспертизу на действительно научное заключение. Того же порядка я придерживался и в своей практике защитника и прокурора, чтобы сохранить за собой возможность критического отношения к экспертизе.

Возможность ошибок в экспертизе, конечно, не исключена. Причины этих ошибок, мне думается, могут быть сведены к двум: или известная предвзятость, или, так сказать, механичность экспертизы. Под предвзятостью экспертизы я не понимаю, конечно, ее умышленную недобросовестность, а только известное, до самого производства экспертизы, составившееся у эксперта мнение о деле, с которым он уже и подходит к экспертизе, незаметно для себя окрашивая данные экспертизы данными этого своего убеждения. На случаи такой предвзятости экспертизы я уже указывал. Врач-эксперт по делу об истязании Мельникова настолько, очевидно, находился под влиянием мнения части общества, что в данном случае со стороны Мельникова было инсценирование истязания, что в основу своего заключения положил чисто обывательское соображение

(царапал себя там, где мог достать рукой), совершенно не вяжущееся с основными физиологическими данными. Эксперты почерка Ши-рева (в деле о покушении на ген. Каульбарса) дали свое заключение о сходстве его почерка с почерком письма, найденного у Голубева, несомненно под влиянием бывшего в то время и у следственной власти убеждения, что Ши-рев и Голубев одно и то же лицо. Только исключительная объективность судебных деятелей может парализовать влияние такой предвзятой экспертизы.

Механичность экспертизы проявляется в том, что эксперт считается только с внешними данными его наблюдения над исследуемым предметом, не вводя в толкование найденных данных логического критерия. В этом отношении вспоминаю два интересных случая:

Обвинялся, — не помню, в чем, — какой-то мещанин, причем уликой против него было какое-то письмо. Фамилия его была Шрейбер, он служил где-то на заводе табельщиком. Заподозрив, что это письмо написано им, следователь продиктовал этому Шрейберу полный текст этого письма и потом дал эксперту оба письма для сличения почерков. Эксперт очень добросовестно осмотрел букву за буквой в обоих этих письмах, признал, что буквы а, г, в, ж, д, з, к, л, м, н, о, п, с, х, и т. д. в этих письмах мало похожи, а похоже написано только несколько букв, именно е, р, б, и, — и потому, в виду подавляющего количества букв несходных, высказал заключение, что «по всему вероятию, инкриминируемое письмо писано не Шрейбером». Встретившись с такой экспертизой на суде, как прокурор, я не счел ее обоснованной по следующим соображениям: Шрейбер — простой мещанин, такие длинные письма, как данное, он, конечно, пишет очень редко, и потому установившегося почерка, с совершенно однообразным начертанием букв, как то встречается у много пишущих людей, от него ожидать нельзя, и, в силу

этого, естественно, в письме, написанном под диктовку следователя, и в письме инкриминируемом, которое, предположим, было написано им же, точного сходства букв быть не может; но, если он не пишет длинных писем, то безусловно он, как табельщик, очень часто пишет свою фамилию, и потому буквы, встречающиеся в его фамилии, у него должны быть наиболее определенного и постоянного начертания; раз эксперт признал, что ш, р, е, и б, т.е. буквы его фамилии, в обоих письмах сходны, то сходство этих, прочно установившихся в его письме букв, является очень серьезным доказательством, что именно он писал инкриминируемое письмо, и несходство остальных букв а, г, в, д, и т.д., которые он, может быть, пишет раз в год, никаким противодокладательством служить не может. Суд встал на мою точку зрения и признал, что инкриминируемое письмо было написано Шрейбером.

Другой случай состоял в следующем. Обвинялся какой-то рабочий в том, что он хранил у себя в комнате, найденные у него при обыске, в отдельном ящике, бомбы, в цельном и разобранном виде, и взрывчатые вещества. Он виновным себя в этом не признавал, заявляя, что этот сундучок попросил его поставить у себя на время какой-то случайный знакомый, который уехал будто бы в деревню, имени и фамилии которого он не знает, и, что было в этом сундуке, он до обыска и не знал. При личном обыске этого рабочего у него найдена была записная книжка; там стояло несколько подозрительных адресов, очевидно, условных, которых он объяснить не захотел, и еще одна запись, его же рукой, приблизительно такая: «столько-то частей . . . (скажем) сахару, угля и 2 части вертеле», — первых двух строк, т.е. упоминается ли именно сахар и уголь, я не помню. Следовательно, предположив, не есть ли это рецепт какого-либо взрывчатого вещества, вызвал эксперта специалиста-химика и тот заявил, что в этой записи он ничего не понимает, ибо «вертеле»

какая-то явная бессмыслица, а остальные части совершенно невинные. Откуда взялась такая запись, обвиняемый не объяснил. Таковую же экспертизу дал этот эксперт и на суде. У меня, однако, возникла другая мысль: я видел, что этот обвиняемый простой рабочий, я знал стремление простого русского человека сводить незнакомые ему иностранные слова к более понятным русским корням, — «а что», думаю, «не скрывается ли за этим вертеле «вертелетова» т.е. бертолетова соль?». В этом смысле я и высказал свое мнение эксперту. Он так и встрепенулся: «Позвольте, если это бертолетова соль, то тогда это рецепт очень сильного взрывчатого вещества, именно в такой пропорции.» Такое открытие, конечно, резко повернуло дело в сторону осуждения.

Изложенное мною, я думаю, достаточно показывает, как сложны, неясны и противоречивы могут быть иногда данные судебного процесса. Поскольку эта сложность, неясность и противоречивость являются отражением самой жизни, с ними надо считаться как с неизбежным фактом, но если они создаются искусственно, с целью ввести суд в заблуждение, то это является таким злом, с которым само общество должно энергичнейшим образом бороться. Охрана права и утверждение справедливости должны быть предметом заботы всякого нормально-развитого общества, уважение к суду и готовность искренне помогать открытию истины должны стать одним из важнейших принципов общественного воспитания, и если общество исполнит свой долг, то в лице судебных деятелей, идущих на судебную работу по призванию и по убеждению, оно всегда встретит самых искренних, бескорыстных и идейных служителей правды и справедливости.

На этом я кончаю свои записки. Буду очень рад, если этот мой труд оживит интерес к серьезному и глубокому изучению судебных процессов в целях познания жизни во всем широком ее объеме. Буду глубоко удовлетворен, если эта моя работа

найдет отклик и признание в тех, кто в возрожденной Великой России будет строить новую жизнь на высших правовых и моральных началах.

- Feci, quod potiii, — faciant meliora potentes!